Алексей Новиков

О душах живых и мертвы

Часть сборника

О душах живых и мертвых. Впереди идущие

Алексей Никандрович Новиков

О душах живых и мертвых

Scan, OCR, вычитка, fb2 Chernov Sergey
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=643395
Новиков А.Н. О душах живых и мертвых. Впереди идущие: Советский писатель; Москва; 1973

Аннотация

Роман А. Н. Новикова «О душах живых и мертвых» (1957) посвящен истории трагической дуэли и гибели М. Ю. Лермонтова – создателя вольнолюбивой поэзии, стихотворения на смерть Пушкина, факелом скорби и гнева пылающего в веках, автора несравненных поэтических поэм «Демон» и «Мцыри» и великолепной прозы «Героя нашего времени». Одновременно с вольнолюбивой поэзией Лермонтова звучит написанная кровью сердца горькая поэма Гоголя, обличающая мертвые души николаевской России. Присоединяет к Лермонтову и Гоголю негромкий, но чистый голос народный поэт-самородок Алексей Кольцов. Страстными статьями уже выделяется в передовых рядах литературы сороковых годов Виссарион Белинский. С молодым напором и энергией примыкает к нему Герцен.

Широкое и красочное полотно общественно-исторической действительности бурных сороковых годов прошлого столетия, насыщенных острой, непримиримой идеологической борьбой, дано в романе с художественной силой и убедительностью.

Содержание

Памяти писателя А. Н. Новикова 4
Часть первая 11
Выстрел в сторону 11
Глава первая 11
Глава вторая 17
Глава третья 21
Глава четвертая 29
Отцы и дети 35
Глава первая 35
Глава вторая 39
Глава третья 43
Глава четвертая 46
Философский монастырь 51
Глава первая 51
Глава вторая 55
Глава третья 58
Поэма поэм 63
Глава первая 63
Глава вторая 67
Глава третья 72
Конец ознакомительного фрагмента. 75

Алексей Никандрович Новиков
О душах живых и мертвых

Памяти писателя А. Н. Новикова

Умное большелобое лицо писателя Алексея Никандровича Новикова останавливало на себе внимание выражением доброты, углубленной сосредоточенности молодых проницательных глаз.

Счастливо сочетался в нем дар талантливого, зоркого художника с пытливостью и неутомимостью мыслителя-ученого.

Постоянный интерес к русской истории, литературе, искусству, стремление всесторонне философски осознать внутренние связи прошлого с настоящим помогали писателю глубоко изучать жизнь и современность во всей их противоречивой многосложности, откликаться на жгучие проблемы дня текущего.

Осмыслив эти связи как неустанную *борьбу за высокие свободолюбивые идеалы передовых слоев русского общества* девятнадцатого века, писатель стремится протянуть живые трепетные нити от героической истории ко дню настоящему.

Самоотверженно отдает себя А. Н. Новиков намеченной патриотической цели: показать эти идеалы и их благородных носителей.

Появляется серия замечательных по глубине художественной и философской трактовки, ярких, впечатляющих романов.

Родился А. Н. Новиков 10 марта 1894 года в семье интеллигентных тружеников: отец – преподаватель, знаток фольклора, древнерусской письменности, мать – учительница русского языка и литературы.

С детства мальчик жил в атмосфере любви и понимания героической истории русского народа, родной литературы, театра, музыки, искусства – и это определило жизненный и творческий путь будущего писателя.

Двадцатитрехлетний Алексей Новиков, закончив в 1917 году два факультета Петербургского университета – историко-филологический и юридический, избирает профессию журналиста-литератора.

Началась полная захватывающих впечатлений жизнь: командировки в «глубинки» России дали возможность молодому журналисту непосредственно общаться с крестьянством, решительно ломающим устоявшийся уклад, повседневно наблюдать новую, рождающуюся в классовых схватках психологию русского села.

Человек, людские судьбы, новь советской деревни, общественная жизнь – круг основных проблем, интересующих начинающего литератора.

В двадцатых годах он много и плодотворно работает: на страницах центральной периодической печати – в «Известиях», «Крестьянской газете», «Кооперативной деревне», «Кооперативной жизни», «Сельскохозяйственной газете» (позднее «Социалистическое земледелие») появляются статьи, очерки, рассказы, фельетоны А. Н. Новикова, обобщающие его впечатления о жизни родной страны, в первую очередь послереволюционной деревни.

Познание действительности, раздумья над социальными переменами в России пробуждают в Новикове силы, которым тесно в рамках журналистской деятельности: нужен больший простор и размах, чтобы приступить к решению тех художественных задач, которые с годами все четче и четче вырисовываются перед ним.

Но он не торопится: вновь и вновь пробует себя, проверяет готовность к труду длительному, требующему полной отдачи всех сил.

В процессе этой подготовительной работы автор публикует не только статьи и очерки, но и переходит к художественному жанру рассказа – о Радищеве, Крылове, Грибоедове, Пушкине, Лермонтове, Гоголе, Глинке.

Одновременно писатель особенно интенсивно изучает жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова. Длительное время пребывает он в пятигорском «Домике Лермонтова», просматривая материалы, связанные с историей безвременной гибели поэта.

Специальная командировка в Ереванский архив, где местными работниками был обнаружен неизвестный список лермонтовской поэмы «Демон», содержащий множество никогда не публиковавшихся строк, позволила А. Н. Новикову, при его соавторстве, опубликовать этот список как в периодической печати («Литгазета»), так и отдельным изданием в Ереване (1941 г.).

В конце тридцатых – начале сороковых годов Новиков принимает самое деятельное участие в жизни Пушкинского общества в Ленинграде. На его заседаниях он читает научные доклады о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова, затем приступает к их публикации. Большое внимание уделяет он общественной работе: выступает с лекциями и докладами на литературные темы в библиотеках Москвы, в памятных лермонтовских местах Подмосковья и Пятигорска.

В годы Великой Отечественной войны А. Н. Новиков – лектор бюро Московского военного округа – вел активную агитационно-пропагандистскую работу в воинских частях, госпиталях Москвы и Подмосковья. Не раз выступал он с лекциями на патриотические темы на позициях Западного фронта.

Живое общение с воинами – героическими защитниками родины – обострило всегда присущие писателю чувства патриотической гордости, веры и непокоримость русского пароода.

Поездки на фронт обогащали и воодушевляли писателя, укрепляли его непоколебимую убежденность в том, что победа народов Страны Советов над фашизмом исторически закономерна и неизбежна.

Не мог оставаться писатель равнодушным к запросам и нуждам военных лет: он горячо откликается на них не только взволнованными корреспонденциями, но и художественными, воодушевленными верой в грядущую победу повестями, рассказами.

Ратные подвиги беззаветно смелых полководцев – Александра Невского, Дмитрия Донского, Суворова, Кутузова, Дениса Давыдова – оживают в произведениях Новикова, публиковавшихся на страницах «Правды», «Литературной газеты», «Вечерней Москвы», в журналах «Красноармеец» (позднее «Красный воин»), «Огонек», «Смена», «Интернациональная литература», в библиотечке «Огонька» (повесть «В 1242 году» – об Александре Невском).

В самые тревожные дни, когда советские воины на земле и в воздухе отражали в столице и на ее подступах налеты вражеской авиации, под вой сирен, возвещавших воздушную тревогу, шли репетиции в Оперном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

В сезон 1941–1942 гг. театр ставит музыкально-драматическое представление по сценарию А. Н. Новикова «Герои русского народа».

Небывалый творческий подъем духовных сил писателя, обилие драгоценных для художника жизненных наблюдений нашли творческий выход в новых созданиях Новикова – романах «Рождение музыканта» (1950) и «Ты взойдешь, моя заря» (1953). Герой дилогии – любимый композитор писателя Михаил Глинка.

Гениальный музыкант, вознесший своими творениями русскую музыку, народную песенность на уровень величайших шедевров мирового искусства, был особенно чтим Новиковым.

Образ героя оперы Глинки – Ивана Сусанина, простого русского пахаря, отдавшего жизнь за родину, стал особенно близок Новикову в дни всеобщего патриотического подъема, героических подвигов народа в борьбе с фашистами.

Образ Сусанина вдохновил писателя на подвижнический литературный труд в нелегких условиях военного времени.

Когда такой высокий авторитет в области русской музыкальной культуры, как академик Б. В. Асафьев, познакомился с частью рукописи Новикова, он написал автору:

«Я очень, очень рад появлению такой работы… хорошо знаю, как растет в людях с музыкальным композиторским слухом осознание музыкальных явлений. Ни одного промаха в этом отношении я у Вас не нашел. Что касается характера изложения, то должен Вам сказать, что Вы примиряете меня со всевозможными повестями и рассказами о жизни (т. е., главным образом, детстве) великих музыкантов. Большей частью это елочные «позолоченные» орехи и патока. За реставрацию исторического фона вокруг мальчика Глинки Вас остается только благодарить».

В статье «Навстречу Второму съезду писателей» («Литературная газета», 1954) Дмитрии Шостакович высказался не менее определенно:

«Художественная литература о музыке крайне бедна и количественно и качественно. Лучшее из всего, что я прочел на эту тему, – роман А. И. Новикова «Рождение музыканта». Это – большая работа, в которой чувствуется серьезное изучение материала, понимание психологии музыкального творчества, любовь к самой музыке».

Большой художественный замысел А. Н. Новикова – создание многотомной эпопеи – определялся постепенно, долгими годами, как результат напряженнейшего труда, настойчивых поисков, великолепных творческих находок, философских раздумий над богатейшим литературным наследием.

Нелегок, а временами и тернист путь писателя, но он может служить примером твердого осуществления масштабных задач, поставленных художником. А задачи эти состояли в том, чтобы через обширную галерею образов гениальных сынов русского народа – передовых писателей прошлого века, особо проследив сложный, нередко трагический путь развития русской литературы, – дать своеобразную энциклопедию умственной жизни русского общества, его эстетической мысли, его культуры.

Четко намеченная программа требует от писателя крайнего напряжения духовных и физических сил, ежедневного многочасового труда.

Труд. Труд кропотливый, подвижнический, яростно вдохновенный. Дни. Месяцы. Годы…

Автор тщательно анализирует сложные социальные противоречия в различных слоях русского общества, пытливо и вдумчиво изучает документы эпохи.

По-новому предстают перед ним ранее не замеченные или по достоинству не оцененные факты, мемуары, воспоминания, письма, казалось бы давным-давно ушедшие в далекую историю, но такие животрепещущие, современные в свете пристального авторского внимания, их новой философской трактовки.

И уже властно влекут, требуют творческого исхода грандиозные задачи воссоздания эпохи, всей цепи сложных, противоречивых явлений общественной действительности, атмосферы России девятнадцатого века, задачи создания художественно убедительных, *исторически правдивых образов ее передовых людей.*

Живые души России, рыцари долга, служения родине, во всей их нетленной моральной красоте появляются на страницах романов Новикова. Бескомпромиссно и непримиримо их противоборство с правящей кликой реакционеров и мракобесов всех мастей.

Всем ходом изображаемых исторических событий писатель утверждает нравственную духовную *победу свободолюбивых,* морально и граждански возвышенно чистых и честных *живых душ над силами зла,* произвола, тьмы.

Полная отдача сил талантливого художника, взыскательного и неутомимого в поисках исследователя *делу его жизни* приносит реальные плоды: один за другим выходят в свет пять романов А. Н. Новикова. Два романа, над которыми уже велась значительная работа, остались незавершенными, оборванными смертью их создателя.

В романах Л. Н. Новикова реалистически живо показана плеяда гениальных русских писателей – талантливых создателей заслуженно вознесенных шедевров мировой литературы.

Образы их – правдивые, красочные, полнокровные, то страстные, гневно негодующие, страдающие, то неутомимо деятельные, то радостные, то возвышенные – волнуют читателя глубиной и человечностью переживаний, высоким гражданским мужеством.

Это творцы подлинно народной культуры, искусства, литературы: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Белинский, Герцен, это – молодые Чернышевский и Добролюбов, образы которых не были завершены.

Роман А. Н. Новикова «О душах живых и мертвых» (1957) посвящен истории трагической дуэли и гибели М. Ю. Лермонтова – создателя вольнолюбивой поэзии, стихотворения на смерть Пушкина, факелом скорби и гнева пылающего в веках, автора несравненных поэтических поэм «Демон» и «Мцыри» и великолепной прозы «Героя нашего времени». Одновременно с вольнолюбивой поэзией Лермонтова звучит написанная кровью сердца горькая поэма Гоголя, обличающая мертвые души николаевской России. Присоединяет к Лермонтову и Гоголю негромкий, но чистый голос народный поэт-самородок Алексей Кольцов. Страстными статьями уже выделяется в передовых рядах литературы сороковых годов Виссарион Белинский. С молодым напором и энергией примыкает к нему Герцен.

Широкое и красочное полотно общественно-исторической действительности бурных сороковых годов прошлого столетия, насыщенных острой, непримиримой идеологической борьбой, дано в романе с художественной силой и убедительностью.

В периодической печати («Пятигорская правда») рядом с высокой оценкой романа особо отмечен образ Лермонтова, встающий «во всем своем величии и многообразии. Непримиримый, резкий, насмешливый – с врагами, задумчивый, немного печальный и даже нежный с теми, кто способен по-настоящему понять его, смелый, решительный в бою, серьезный, сосредоточенный наедине с собой и своим творчеством… рельефно изображен и противоположный лагерь – грозная, зловещая фигура Николая I, его ближайшие помощники, действующие то пеньковой петлей, то умственной удавкой. Зло и ядовито высмеиваются «богатыри, жаждущие сразиться с чудищем крамолы» – Булгарин, Греч, Кукольник, славянофилы, утверждающие, что покорность помещику и «царю-батюшке» исконные качества русского народа, и другие идеологические защитники самодержавия».

«Вся история гибели Лермонтова …написана в литературном отношении блестяще и читается с глубоким волнением», – отмечает в своей рецензии писатель Г. Шторм, исходя из «общей высокой оценки этой идейно, философски значительной книги…».

Замысел о создании энциклопедии умственной жизни России настоятельно призвал А. Н. Новикова к книге о Пушкине – иначе в задуманной эпопее будет отсутствовать важнейшее звено, без которого цепь распадается.

Пушкин. В новом посвященном ему романе «Последний год» (1961) писатель прослеживает вплоть до рокового часа дуэли последний год его жизни: бурные, напряженные дни, наполненные литературно-общественной деятельностью, драматическими, дошедшими до

крайнего накала событиями семейной жизни, насыщенные плодотворной творческой работой.

Пушкин пишет «Капитанскую дочку», изучает документы по истории Петра I, заботливо и внимательно опекает любимое детище – журнал «Современник». Здесь он может выражать свои идеи, устремления, вкусы, вести принципиальную борьбу с лакейски преданной монарху «официозной» печатью, проповедями «благонамеренных» Шевырева и Погодина с их лживыми утверждениями «невинности» гоголевского смеха.

Пушкин уже заметил блестящее темпераментное дарование В. Белинского и думает привлечь его в свой журнал. Безвременная гибель поэта помешала осуществлению этого намерения. Высокопоставленные преступники из придворных кругов, да и сам монарх способствовали развитию трагических событий в семье Пушкина, подтолкнули руку убийцы.

«Жизнь Пушкина почти так же сказочно разнообразна, как и его творчество», – писал А. М. Горький. Этой горьковской фразой начинает академик Д. Д. Благой рецензию на роман А. Новикова. С похвалой отметив авторские удачи в художественной трактовке «из величайших великого» поэта, Благой подчеркивает: «С большим чувством меры, сдержанно и сильно дан (а это один из главных критериев оценки всего произведения) образ самого Пушкина. Автор не заставляет поэта, – что часто случается, – говорить цитатами из его писем и известных нам высказываний, а находит для него естественный и простой язык, соответствующий обстоятельствам, лишенный раздражающей и ненужной стилизации, манерности».

Ту же мысль высказывает писатель К. Горбунов, прочитавший «Последний год» в рукописи: «…наши читатели получат… обстоятельное, научно обоснованное художественное произведение, посвященное последнему году жизни А. С. Пушкина… совершенно свободное как от канонической трактовки образа величайшего поэта России, так и от нигилистических выпадов в его адрес. *Алексей Новиков выполнил дело большого патриотического значения*».

В романе «Впереди идущие» (1965) развивается тема, ранее начатая в книге «О душах живых и мертвых». Писатель вновь обращается к литературно-общественной жизни сороковых годов прошлого века. Органически сливаются эти романы в дилогию не только хронологической последовательностью событий, но и дальнейшим развитием судеб героев первой книги, общностью идеи, сюжетных линий, единым композиционным приемом. Итак, тот же круг проблем, тот же круг «проклятых» вопросов. И первый из них: как не потерять духовных ценностей душам живым в мире тьмы, где произвол мертвых душ губит и душит все честно мыслящее? Это вопрос из вопросов, и писатель отвечает на него взволнованно, по-хорошему пристрастно.

Разные люди, разные судьбы, разное понимание исторического процесса; еще непрерывна учеба и поиск, но какая горячая и плодотворная учеба, какие находки и прозрения!

Самый замечательный впереди идущий – Виссарион Белинский. Благороден и высоко поучителен путь этого неистового человека.

«Белинский чист, как кристалл, – характеризовал этот образ рецензент романа писатель К. Горбунов. – Редко удается природе создавать столь нравственную натуру».

В условиях гнета и произвола помещичьей России литературная деятельность была единственным путем общения с народом, с думающим, ищущим читателем, с молодежью. Люди с сердцами чистыми не могли равнодушно видеть беды народные, рабство, крепостничество, не могли не думать о путях революционного развития России и о тех катаклизмах, которые уже потрясали Европу.

Некрасов и Щедрин, Герцен и Огарев, принявшие идеалы революции, убеждены, что никаким либеральным врачеванием не излечить непримиримых противоречий русского общества. Единственный путь – путь революции, коренного переустройства жизни на новых общественных началах.

Правящая клика зорко следит за инакомыслящими: не случайно трижды беспокоят жандармы умирающего от чахотки Белинского.

Трагична и горестна судьба Гоголя, когда он, подпав под влияние мракобесов-мистиков, проповедует примирение с действительностью, отрекается от лучших страниц своего творчества, сжигает наброски второй части «Мертвых душ».

Белинский, горячо любивший Гоголя и убежденно пропагандировавший его произведения, не принял самоотречения писателя; критик утверждал, что Гоголь уже не властен над своими произведениями – они давно стали достоянием народа.

Интересна и значительна в романе «Впереди идущие» перекличка могучих умов – Белинского и Герцена – по вопросам искусства, философии – о необходимости идти вперед, к революции.

В пророческом видении революционного будущего Виссарион Белинский предрек идейным врагам:

– Вам ложь, нам – истина!

В этом пророчестве Белинского и заключен художественный и гражданский пафос романа Новикова.

Острый аналитический ум и горячее сердце водили его пером: каждая строка романа полна светлой гордости, когда он рисует победное становление родной литературы, ее стремительный выход на мировую арену.

Доктор филологических наук С. М. Петров, проанализировав роман «Впереди идущие» («Октябрь», 1965), особо отмечает большой труд автора, «вложившего в свое творение знания и душу, любовь и талант».

Далеко не случайно обращение А. Н. Новикова в последний этап его творчества к шестидесятым годам, когда бурные идеологические схватки подняли на гребень умственного движения России вождей революционной демократии – Чернышевского и Добролюбова. К сожалению, окончанию романа помешали болезнь и смерть писателя.

К работе над своими произведениями А. Н. Новиков относился взыскательно. Придирчиво и добросовестно изучал огромное количество документального и фактологического материала.

Писатель не брал на веру ни одной канонической версии, не был «рабом факта»: он все оценивал заново, увязывая с исторической правдой, с логикой мышления, с характером героя.

Волновали писателя, отнимали у него долгие часы раздумий драматургия произведения, его композиция. Он многократно переписывал, шлифовав сделанное, искал свои приемы художественной выразительности. В этом плане для Новикова характерен своеобразный метод обрисовки героев. В письме к читателю А. Н. Новиков объясняет этот метод:

«От Вас мне впервые пришлось услышать замечание о том, что мои герои не имеют описания своей внешности. Представьте, никому это не бросилось в глаза. А между тем, в этой манере кроется и раскрывается определенный замысел автора. Мне всегда казалось, что самые подробные описания носов, подбородков, цвета волос и т. д. ничего не дают читателю. По крайней мере, я сам никогда *не видел* ни одного персонажа в этих описаниях. Мой замысел заключается в том, чтобы дать образ через *интонацию*. Разумею при этом не только речевой словарь, более или менее характерный для данного персонажа, но именно интонацию, т. е. какое-то своеобразное музыкальное звучание речи. Много бился я порой, переставляя слова, заменяя одно другим, чтобы добиться нужного эффекта».

При обрисовке пейзажа, его настроения писатель тоже прибегает к слуховому образу – к музыкальной интонации с ее компонентами – мелодикой, ритмом, темпом.

В работе над языком романов автор создал своеобразный, ему присущий сплав языка современного, ясного, доступного читателям с элементами языковых особенностей изображаемой эпохи и тем счастливо избежал стилизации, реставраторства.

Скончался А. Н. Новиков 26 ноября 1971 года.

Советские читатели по достоинству оценили талант и литературный подвиг А. Н. Новикова – создателя цикла исторических романов, отдавшего десятки лет жизни беззаветному служению родной советской литературе. Они сохранят светлую память о писателе – удивительно скромном, добром, редкостно трудолюбивом и одаренном человеке.

В. Солнцева.

Часть первая

Выстрел в сторону

Глава первая

Утром, как всегда, Андрей Александрович Краевский принимал посетителей и журналистов. В эти часы к редактору «Отечественных записок» ездили без приглашения.

Хозяин встречал гостей в обширном кабинете, сплошь заставленном книжными шкафами затейливого устройства. Огромный письменный стол в свою очередь свидетельствовал о самобытных вкусах хозяина: на столе громоздились полки и полочки, а искусная резьба ловко прикрывала множество потайных отделений. Корректуры и рукописи были разложены в образцовом порядке. Обилие рукописей наглядно говорило посетителю о том, что такой могучий поток поэзии и прозы мог хлынуть только в лучший из столичных журналов.

Андрей Александрович носил черный, чуть не до пят, сюртук вполне солидного, но тоже несколько экстраординарного покроя. Голова его была покрыта черной шелковой шапочкой, приличной более ученому мужу, чем журналисту.

В костюме редактора «Отечественных записок», как и во всей обстановке кабинета, чувствовалась полная независимость от общепринятых образцов, однако в этом не было ни малейшего намека на легкомыслие.

Злые языки утверждали, что покрой сюртука, шелковую шапочку и даже фасоны мебели Андрей Александрович заимствовал от князя Одоевского. Но Владимир Федорович Одоевский, известный своей ученостью, литературными и музыкальными талантами, а также неуемной страстью к изобретательству, оставался всего лишь вкладчиком «Отечественных записок», хотя бы и весьма почтенным. Андрей же Александрович, едва достигнув тридцати лет, уже метил в литературные генералы. Правда, был он еще не по-генеральски сухопар, зато в голосе его прорывались внушительные, почти басовые ноты, а на висках уже обозначилась серебристая проседь.

Восхождение Краевского по лестнице журнальной славы произошло стремительно и незаметно. Впрочем, были в этом восхождении и досадные срывы. Так, незадолго до смерти Пушкина он расчел, что пушкинскому журналу «Современник» долго не жить, как в силу общеполитической неблагоприятной обстановки, так и по неопытности поэта в хозяйственных делах. И хотя был тогда Андрей Александрович лицом мало приметным в литературном мире, он, объединившись с Одоевским, сделал Пушкину неожиданное предложение – оставить за собой только изящную словесность да «суд над книгами», то есть критику, а в остальном передать все руководство «Современником» ему, Краевскому, вместе с князем Одоевским.

Должно быть, погорячился тогда по молодости Андрей Александрович. Не таков был Пушкин, чтобы вручить судьбы «Современника» кому бы то ни было, даже самому Краевскому, несмотря на все его достоинства и очевидную скромность. Поэт предпочел биться в тисках безденежья и крепко держать руль журнала в собственных руках.

Но Пушкин был убит, и фамилия Краевского все-таки появилась на обложке осиротевшего «Современника» рядом с именами новых редакторов – Жуковского, Вяземского, Одоевского, Плетнева. Именитые друзья Пушкина никак не могли обойтись без помощи милейшего и усерднейшего Андрея Александровича. В свою очередь обложка «Современника» с фамилиями новых редакторов доставила неизъяснимое удовольствие Краевскому и смяг-

чила ту искреннюю скорбь, которую всегда испытывал он при мысли о гибели приснопамятного поэта.

Прошло еще два года, и Андрей Александрович стал редактором-издателем крупнейшего журнала. Никто и не помнит теперь, какое жалкое существование влачили когда-то «Отечественные записки», с таким блеском возродившиеся в искусных руках Краевского.

На этот раз Андрей Александрович совсем не горячился и начал дело как раз вовремя. Даже самые простодушные читатели стали охладевать к «Библиотеке для чтения», которую издавал профессор Сенковский. Пустопорожнее зубоскальство профессора, гордившегося перед читателем полным отсутствием убеждений, давно набило оскомину. Хитрая личина не могла укрыть вполне определенных убеждений ученого редактора – его неизменной склонности к мракобесию.

А пушкинский «Современник» держался теперь только тем, что в нем от времени до времени публиковались драгоценные строки из наследия поэта.

В меру потрудившись в «Современнике», Андрей Александрович Краевский передал бразды правления трудолюбивому профессору Плетневу. Маститый ректор Петербургского университета, Петр Александрович Плетнев усердно наводнял «Современник» серой, но вполне благонамеренной скукой, и читатели, если в очередном номере не оказывалось пушкинских публикаций, оставляли книжки журнала неразрезанными.

Выходил в Петербурге еще один журнал – «Сын отечества», издаваемый Гречем. Но кто не знал, что Греча по справедливости величают Ванькой-каином русской литературы? От Николая Ивановича Греча даже тогда, когда он ссорился с неразлучным своим другом, Фаддеем Венедиктовичем Булгариным, за версту несло – по общеизвестной эпиграмме наступить на Булгарина опасался каждый чистоплотный человек.

К тому же в «Сыне отечества» подвизался Николай Полевой. Потерпевший крушение издатель «Московского телеграфа» перебежал ныне в услужение к Гречу и Булгарину и вещает на страницах «Сына отечества»: «Есть у нас писатели с истинным дарованием – Греч, Булгарин, Загоскин и… Гоголь!» Думает бывший московский романтик Полевой, что найдутся читатели, которые поверят в гений и Греча, и Булгарина, и Загоскина, если вместе с ними, хоть на последнем месте, помянуть Гоголя.

Как в зеркале, отражали все эти журналы российское безвременье. Единственно разве шеф жандармов граф Бенкендорф считал состояние петербургской журналистики превосходным: никаких с ней хлопот!

Но неужто перевелись честные люди на Руси? Именно в это время и с этой мыслью выступил на широкое поприще Андрей Александрович Краевский. «Отечественные записки» будут бороться за неподкупное русское искусство. «Отечественные записки» объединят всех, кто достоин высокого звания писателя и журналиста. Еще не все они изведены в империи Николая Павловича.

«Отечественные записки» выходят второй год, и книжки журнала никогда не запаздывают. Вот и сейчас на письменном столе редактора покоится пахнущая свежей типографской краской февральская книжка «Отечественных записок» за 1840 год. А Андрей Александрович уже готовит новый номер, читает корректуры и ловко перехватывает деньги…

Ох, деньги, деньги! И сколько же их надо, если Краевский издает еще «Литературную газету», а в ней тоже ведет непримиримый бой и с Сенковским, и с Гречем, и с Булгариным, и с Полевым…

Словом, Краевский приобрел репутацию опытного издателя, человека с большим размахом и непоколебимыми убеждениями.

Редактор «Отечественных записок» не знает отдыха ни днем, ни ночью. А по утрам, как всегда, принимает у себя пишущую братию.

Несмотря на хмурое февральское утро, Андрей Александрович находится в отменном расположении духа. Он оглядывает обстановку своего огромного кабинета, тонущего в полумраке, и рассеянно слушает гостя. Первым приехал сегодня Иван Иванович Панаев, свояк Краевского, молодой журналист, обладающий счастливой способностью казаться еще моложе своих лет. Панаев рассказывает последние новости и, исчерпав весь запас, умолкает. Да и какие могут быть новости в петербургском литературном болоте или в светских гостиных?

– Не судья я вашему светскому обществу, – перебивает Краевский, – увольте, Иван Иванович! Скажите лучше, что нового пишут из Москвы о Гоголе?

– А Гоголь, представьте, продолжает, правда при строжайшей тайне, чтение «Мертвых душ». Старик Аксаков на днях опять сюда о том писал, и тоже, конечно, по секрету.

– Жив не буду, а те «Мертвые души» достану! – воскликнул Андрей Александрович. – С ума можно сойти от одной мысли, что московские разбойники перехватят…

– А вы бы сами закинули удочку, Андрей Александрович.

– Писал, всем надежным людям в Москву писал – нет ответа! А Гоголь – надобно же его повадки знать! – угрем из рук уйдет… – И раскинул Андрей Александрович руки так, будто хотел схватить ускользающую добычу.

– Пишут из Москвы, – подзадорил Панаев, – что Николай Васильевич уже несколько глав прочел избранным счастливцам.

– Да ведь вы, Иван Иванович, будучи в Москве, сами на тех чтениях присутствовали?

– Имел честь. В том же богоспасаемом семействе Аксаковых… Однако же все, что знаю, давно вам рассказывал: в некий губернский город приезжает некто Чичиков…

– Так, так, помню… именно Чичиков.

– …и, остановясь в гостинице, делает визиты местным чиновникам… Картинность изложения и слог… ну как бы вам это сказать… воистину достойны Гоголя. Воскрес автор «Ревизора» и после долголетнего молчания вознесся на недосягаемую высоту.

– А суть-то этого вознесения какова?

– Увы, столько же знаю, сколько и вы, Андрей Александрович. Прочел Гоголь, что одно предприятие Чичикова, или, как говорят в провинции, пассаж, привело в совершенное недоумение почти весь город. А после того свернул Николай Васильевич свою тетрадку да положил се в карман… Тут начались вопли восторга, и все Аксаковы сияли так, будто сами, собственным своим семейством, сочинили «Мертвые души». И на том я, Андрей Александрович, из Москвы уехал…

Краевский сидел в глубокой задумчивости, уже не слушая незадачливого свояка, уехавшего от продолжения «Мертвых душ»… Андрей Александрович хорошо помнил, что Гоголь, когда приезжал в Петербург, читал кое-что из «Мертвых душ» Жуковскому. Слухами о «Мертвых душах» полнились все литературные закоулки, а он, издатель «Отечественных записок», еще не имел ни одной строки из поэмы ни в одном из потаенных ящиков своего письменного стола.

– Кстати, – вспомнил Панаев, – Одоевский хвалился мне вчера, что получил письмо от Гоголя: он готовит повесть для «Отечественных записок»…

– Повесть?! – вскипел Краевский. – На черта мне его повесть, когда Россия ждет «Мертвые души»! Да и нет у него никакой повести и быть не может, коли сидит над своей поэмой. Мастак он водить за нос, да меня не проведет! – И долго корил коварного Гоголя нетерпеливый редактор.

Панаев подошел к окну.

Из окна видны Измайловский мост и занесенная снегом набережная реки Фонтанки. Куда-то идет, четко отбивая шаг, рота Измайловского лейб-гвардии полка. Слышится глухая барабанная дробь. Несмотря на ранний час, навстречу гвардейцам неуверенно движется

подгулявший мастеровой. Он нелепо размахивает покрасневшими от стужи руками и, по-видимому, пытается что-то петь. Колючий ветер сердито треплет его рваный зипунишко и, кажется, собирается сбить с ног загулявшего до времени рабочего человека.

– Эх, масленица! Наша русская масленица! – с тоской говорит Иван Иванович и, махнув рукой, возвращается к покинутому креслу. – А чем же и жить на Руси честным людям? Ей-богу, скучно… Вот завести бы нам в журнале обзоры европейской жизни и мне бы по этому случаю махнуть в Париж, а?

Иван Иванович глянул на свои модные брюки. Неведомый художник создал это трико, пустив его в дымчато-палевый цвет. Другой искусник дал им парижский крой, игриво обтянув ляжки заказчика. Полюбовался на себя Иван Иванович и еще раз повторил:

– Право, Андрей Александрович, катнуть бы мне в Париж…

Краевский снисходительно улыбнулся.

– Помилуйте, и без Парижа дела хватит! Один Секретный комитет по крестьянским делам чего стоит! Если бы можно было предать гласности это событие первостепенной государственной важности… Разумеется, комитет, вновь созданный по высочайшему соизволению государя императора, не допустит никаких поспешных крайностей, однако милость, дарованная России…

– Милость! – перебил Панаев. – Право, Андрей Александрович, с ней лучше поторопиться, чем ожидать всеобщего истребления помещиков.

Как ни привык Краевский к неожиданным суждениям свояка, на этот раз он положительно опешил.

– Однако вы, Иван Иванович, сами впадаете в легкомысленную и предосудительную крайность.

– Я? При чем же тут я? – удивился Иван Иванович. – Вы бы поездили, Андрей Александрович, по России, тогда бы иначе заговорили…

– Да тише вы! – перепугался Краевский.

– Нет, сударь, коли о Секретном комитете заговорили, так извольте слушать. Когда поехал я прошлым летом в Казанскую губернию, сам перетрухнул. Представьте, управляющий имением выезжает в поля не иначе как с конной охраной… Вот они, смиренные-то мужички, какого страху навели! А помещики, отправляясь в дальний путь, маскируются под купцов или мещан. Ей-богу! И возводят на ночь в усадьбах баррикады. Даю честное слово, баррикады! А ведь это Тетюши! Что же в просвещенных губерниях творится?

В губерниях действительно творилось неладное. Неурожай поразил все Поволжье и многие другие места. Помещики бежали из насиженных гнезд. Иных мужики выгоняли из дедовых вотчин, пуская красного петуха. Власти растерялись. В двенадцати губерниях против голодных мужиков действовали воинские команды. Но и войска не хватало. Положение оказалось настолько грозным, что император Николай Павлович вынужден был искать всех возможных мер успокоения. Непокорных секли в деревнях, в Петербурге заседал Секретный комитет.

Об этом-то комитете и хотел было обстоятельно поговорить редактор «Отечественных записок», но Панаев обнаружил неожиданный поворот мысли.

– Кстати, – вдруг оживился он, – не завернуть ли нам по случаю масленицы на блины к Палкину? Идея! – продолжал он. – И Белинского прихватим!

Андрей Александрович посмотрел на свояка с недоумением.

– Виссариона Григорьевича – в ресторан? Не представляю…

– Уговорю, ей-богу, уговорю! – увлекался все больше Иван Иванович. – Для пользы русской словесности, хочет он или не хочет, затащу Виссариона к Палкину!

– Сомневаюсь!

– Пари! – решительно протянул руку Панаев.

– Никогда не держу пари. – уклонился Краевский. – С меня довольно споров о статьях Виссариона Григорьевича. Все еще о них шумят?

– Шумят, как всегда, шумят почитатели Виссариона. А январская книжка «Отечественных записок», в которой явился он с таким разнообразием идей, до сих пор остается злобой дня. Признаться, горячие головы изрядно его честят, о чем я, Андрей Александрович, не раз предупреждал.

– Очень хорошо, – откликнулся Краевский и даже потер руки, – без диспутации нет жизни журналу. За что же именно и почему ругают?

– А все за то же. Не дает покоя прежде всего злополучная статья «Менцель – критик Гёте». То поклонялись Белинскому как кумиру, то готовы повергнуть собственного идола во прах. Да и я, сколько ни слушаю, не могу взять в толк: зачем он написал эту статью? А некоторые приписывают ее вашему влиянию, Андрей Александрович!

– Чересчур лестно для меня, – улыбнулся Краевский. – Попробуй повлиять на Виссариона Григорьевича! Хотел бы видеть такого человека… Впрочем, неужто публике до сих пор невдомек, что Белинский согласился работать в «Отечественных записках» и с тем в Петербург переехал, чтобы вся его работа была, как он сам заявил, без всякого ущерба для его литературной совести? Не вы ли, Иван Иванович, были посредником в этом соглашении джентльменов?

– Очень хорошо помню! Не забыл я и того, что в свое время вы, Андрей Александрович, именовали Белинского мальчишкой и крикуном…

– Каюсь, каюсь! Но я же зову его ныне и спасителем журнала…

– А если из одной крайности ударяетесь в другую?

Разговор стал живо интересовать Андрея Александровича. Он поправил шелковую шапочку.

– Я никогда не высказываю Белинскому своего мнения о его статьях, – ни одобрения, ни порицания. Я умею уважать свободу мысли!

– А мне тычут этого самого «Менцеля» и, стуча кулаком по столу, допрашивают: «Неужто все это мог написать Белинский?»

– Ох, эти горячие головы! – перебил Андрей Александрович. – Никак не хотят отдать автору справедливости: ведь блестящая, полная мыслей статья!

– Кто будет спорить! – воскликнул Панаев. – Но именно мысли эти, изложенные с таким блеском, и возбуждают ярость. Не соглашаются пылкие умы насчет разумно-сущего. Как это у них, философов, выходит? Учу, учу эту премудрость, а постигнуть не могу, и память не держит…

Иван Иванович встал, нашел на письменном столе январскую книжку «Отечественных записок» и стал быстро ее листать.

– А! Вот то самое место, где философская собака зарыта! – И он прочел, глубокомысленно наморщив лоб: – «Все, что есть, то необходимо, разумно и действительно».

– Ну? – спросил Краевский. – Автор воспроизводит известное положение Гегеля.

– Гегель-то, конечно, Гегель… «А как же нам, спрашивают, на наши российские безобразия смотреть? Неужто они тоже необходимы и разумны?» И опять тычут в те строки, где Белинский проповедует, что истинное искусство должно примирять нас с действительностью, а не восстанавливать против нее.

– Таков непреложный философский вывод, – охотно подтвердил Краевский.

– А мне говорят: «К черту эту философию, если зовет лукавая ведьма к примирению с нашим российским непотребством! Пусть ваш автор той блудливой старушонке куры строит, а нас увольте!»

– Увольте и меня, почтеннейший Иван Иванович, от подобных выражений!

– А я, Андрей Александрович, еще смягчаю выражения. Молодежь, которая восстает ныне на Белинского, не признает изящных иносказаний.

Краевский потянулся к книжке журнала и, взяв ее из рук Панаева, поставил на полях читанной страницы аккуратную галочку.

– Очень любопытно, очень… – сказал он. – Не понимают или не хотят понять выводов, вытекающих для искусства из определенной идеи.

– А пристали ли те выводы, хотя бы и сверхфилософские, нашему либеральному журналу? – спросил Панаев.

– Но разве не свобода мнений написана на нашем знамени? – вопросом на вопрос отвечал Краевский. – Продолжайте, однако, редакции необходимо собрать все отзывы.

– Извольте. Тем охотнее буду продолжать, что по случаю масленицы наша журнальная братия, очевидно, более склонна к блинам, чем к философии. Признаюсь, я не охоч передавать нападки на Белинского в присутствии любопытных… И так действуют как красное на быка многие мысли Виссариона Григорьевича. А перечитав злополучного «Менцеля», громоподобно кричат: «Неужто это Белинский, написавший когда-то «Литературные мечтания»? Неужто это Белинский, провозгласивший явление Гоголя?» Ему ли, мол, проповедовать созерцательность и примирение? Ну, и прочее и прочее, и все непременно на таком фортиссимо, что я бегу прочь, а потом страдаю мигренью.

– Да, – Краевский вздохнул, – не хотят понять, что Виссарион Григорьевич, еще будучи в Москве, изменил свои мнения в сторону умеренности. Неужто с годами не может умягчиться у критика характер?

– Сильно сомневаюсь, Андрей Александрович. Виссарион разве что в могиле смирится. А как он разделал в той же книжке Полевого! И подписи под статьей нет, а все знают автора, и все опять в один голос заявляют: «Вот где отозвался прежний Белинский!» И находчив же он: перепечатал ехидную характеристику, данную раскаявшемуся Полевому Булгариным. Выходит, Полевого да Булгариным же по голове, а Гречу теперь их мирить! Воображаю, сколько у них конфузу! Но Булгарин-то хорошо дело понимает. Как-то встретился мне на улице: «Почтеннейший, говорит, это не вы ли привезли из Москвы бульдога Белинского, чтобы нас травить?» Этот понимает, что ни ему, ни его подручным спуску от Виссариона не будет. У него была и всегда будет бульдожья хватка на врагов. Вот вам и созерцатель! Одной рукой пишет о разумной действительности и примирении с ней, а другой раздает полновесные оплеухи охранителям наших устоев.

– От этого «Отечественные записки» никак не проиграют, – довольный, перебил Краевский. – Клянусь, я и здесь никак не собираюсь стеснять Белинского.

– А все-таки не понимаю я, зачем ему эти теории? Не доведет его Гегель до добра. Вы бы послушали, как они в Москве гегелианские обедни пели! Чуть меня до горячки не довели. «Бесконечное в конечном… Субстанция и абсолют…» Только бегством и спасся из этого философского монастыря!

– Вот вам урок, Иван Иванович, не углубляйтесь в Гегеля! – пошутил Краевский.

– Боже меня упаси! – простодушно отмахнулся Панаев. – Я от этой неметчины, как черт от ладана, бегу, не даю и сейчас Белинскому слова молвить. «Пас! – кричу. – Пас, батенька! А коли желаете, священнодействуйте без меня…» Но, право же, советую крепко подумать, Андрей Александрович! Я всей душой симпатизирую Белинскому, но должен предостеречь: эти статьи вводят в великое смущение многих читателей…

– А у меня в столе лежит новая статья о немецкой философии. И автор вам известен: Михаил Александрович Бакунин.

– Ну, этот при Гегеле в должности московского пророка ходит. Престранный, впрочем, пророк – с девственным румянцем на щеках… Есть по этому поводу щекотливый анекдот. Рассказать, а?

– Вам бы Поль де Кока читать! Стыдитесь, почтеннейший! Ведь вы теперь женатый человек!

– Не отрекусь от блаженства… А анекдот о Бакунине, право, презабавный. В своем роде тоже философия…

– Пусть она и останется при вас, – решительно сказал Краевский, – а мы предпочтем философскую статью Бакунина. Образцовая статья… Впрочем, до Гегеля он все еще не добрался… Жду продолжения. Только сей московский гегельянец столько же щедр на посулы, сколько туг на исполнение. Таковы, видно, все наши философы, исключая Белинского… И вот вам мое твердое слово, Иван Иванович, всегда буду гордиться тем, что именно нам – и только нам – удалось заполучить в Петербург Виссариона Григорьевича. Пусть невежды бранят его философские трактаты! Весь просвещенный мир читает ныне Гегеля, как магометане Коран. Мы удовлетворяем похвальную жажду знания… А идея гармонического примирения с существующими порядками – разумею, в высоком философском смысле – рождена самой жизнью… Довольно напрасных жертв и беспочвенных мечтаний! Пора и нам, русским, найти твердые основы для наших верований и стремлений.

– А я этого все равно никогда не пойму! – разгорячился Панаев, гордившийся своими либеральными, хотя и недавно приобретенными, мыслями. – Что же это выходит? И квартальный надзиратель и жандармы – тоже для гармонии?

Краевский безнадежно махнул рукой.

– Нет, Иван Иванович, вы в философы решительно не годитесь!

– И за то благодарю создателя… Однако к Палкину на блины обязательно катнем. А потом, Андрей Александрович, учинить бы что-нибудь такое-этакое по холостяцкой части…

Краевский беспокойно оглянулся.

– Не терплю, Иван Иванович, этих пошлостей! Пора бы о том знать…

– Эх вы, философ! – рассмеялся Панаев. – А коли все существующее разумно, почему бы пренебрегать и запретными утехами? Да где вам!.. Ну, я пойду к Анне Яковлевне. Как она?

– Анна Яковлевна мудро правит жизнью. А ваша Авдотья Яковлевна как?

– Авдотья Яковлевна тоже правит жизнью, – Панаев вздохнул, – но правит диктаторски, не дает мне никакого спуску, игры воображения вовсе не признает. А впрочем, цветет…

– Она у вас умница, – наставительно сказал Краевский. – Передайте ей мой почтительный привет.

Иван Иванович пошел было из кабинета и на ходу еще раз хотел полюбоваться дымчато-палевыми брюками, сшитыми по последней парижской моде, но двери распахнулись и казачок торопливо объявил:

– Михаил Юрьевич Лермонтов!

Глава вторая

– Прошу! Покорно прошу! – говорил Краевский, идя навстречу гостю, и вдруг остановился: рука поэта была обвязана носовым платком, сквозь который просачивалась кровь. – Что с тобой, Михаил Юрьевич, приключилось?

– Ничего особенного, – отвечал Лермонтов, раскланиваясь с Панаевым, – если не считать дуэли, которую я только что имел.

– Шутить, батенька, изволишь, – у Краевского дрогнул голос, – а нам, ей-богу, не до шуток. – Андрей Александрович переводил глаза с перевязанной руки на лицо поэта.

– Зову в свидетели бога и Ивана Ивановича, – продолжал Лермонтов, едва пряча улыбку, – я нисколько не шучу, хотя новость моя ничуть не примечательна.

– Если это не мистификация… – Краевский побледнел и глядел на Лермонтова не отрываясь, – если это не мистификация, сударь, то говори по крайней мере, с кем тебя угораздило драться?

– Господин де Барант, сын французского посла, удостоил меня чести скрестить с ним шпаги. Увы! Шпага моя сломалась при первом выпаде, и тогда мы были вынуждены перейти на пистолеты.

Едва услышав эти подробности, Краевский быстро пошел к дверям.

– Никого не принимать! – крикнул он в переднюю, потом наглухо закрыл двери и сел в первое попавшееся кресло.

Панаев, наоборот, встал. Оба они являли столь комическое зрелище, что Лермонтов неудержимо расхохотался.

– Признаюсь, никак не рассчитывал на подобный эффект!

– И это надежда и слава российской поэзии! – вскричал Краевский. – Наследник Пушкина! А дерется, как желторотый прапорщик! – И он закрыл лицо руками.

– Если это не тайна, Михаил Юрьевич, – Панаев подошел к поэту, – если вы сочли нас достойными доверия в таком деликатном деле, то, может быть, вы откроете причину столь печального происшествия?

– Извольте! – Лермонтов был все в том же веселом, даже задорном настроении. – Но если я скажу вам, что ни одна из женщин не была истинной причиной столкновения, то удовлетворит ли вас такой ответ?

– Да скажешь ли ты наконец правду?! – взмолился редактор «Отечественных записок». – Я больше не выдержу!

– А между тем, – продолжал поэт, – я должен обратиться именно к тебе, Андрей Александрович, и с неожиданной просьбой. Шпага противника царапнула мне руку и грудь. Раны несерьезны, но кровоточат. Мне не хотелось ехать к бабушке, чтобы ее не встревожить. Короче говоря, мне нужна чистая рубаха, и я решил, что редактор «Отечественных записок» по своему великодушию не откажет в этой просьбе, не совсем, правда, обычной.

Хозяин дома, пребывая в полной растерянности, увел Лермонтова в спальню и снова наглухо закрыл за собой дверь. Панаев прислушивался, но, как ни напрягал слух, ничего не мог разобрать. По счастью, дверь спальни вскоре открылась.

– Так вот, господа, – продолжал Лермонтов, но уже и тени улыбки не было на его лице, а речь звучала искренне и задушевно, – мне пришлось защищать на этой дуэли честь русского имени, хотя, признаюсь, не назвал бы этот способ защиты наилучшим. Но что делать, выбор от меня не зависел. А французик…

– Надеюсь, он не убит и не ранен? – перебил Краевский и почти застонал: – Боже мой, что будет теперь в дипломатическом мире!

– Господин де Барант покинул поле битвы совершенно невредимым.

– Слава тебе, господи! – Краевский неожиданно для себя перекрестился. – Не хватало еще, чтобы отношения России с Францией, и без того натянутые, получили новый повод для осложнений!

– Но именно дерзкое презрение к русским со стороны вертопраха, явившегося к нам с парижских бульваров, и вынудило меня дать урок этому просвещенному неучу, не умеющему уважать достоинства ни французов, ни русских.

– Михаил Юрьевич, да расскажи по порядку, иначе невозможно понять!

Краевский давно потерял привычную выдержку, даже шелковая его шапочка была сбита набок, а он ничего не замечал.

Лермонтов оглядел собеседников и, по-видимому насладившись впечатлением, снова заговорил шутливым тоном.

– Если вас интересуют подробности, – сказал он, – то встреча состоялась на Парголовской дороге, за Черной речкой, сего февраля восемнадцатого дня тысяча восемьсот сорокового года…

– Он меня с ума сведет! – не выдержал Краевский и с необыкновенной для него поспешностью бросился к графину, налил полный стакан воды и выпил залпом.

– Но как же я буду рассказывать, Андрей Александрович, если ты постоянно меня перебиваешь?

Андрей Александрович молча бухнулся в кресло, совершенно не заботясь о редакторском достоинстве.

– Да и что рассказывать! – Лермонтов опять выдержал паузу. – Когда моя шпага сломалась и мы перешли на пистолеты, противник мой, будучи в волнении, плохо прицелился и промахнулся.

– А!.. – только и мог произнести хозяин дома.

– Да, представьте, промахнулся, – повторил поэт, – а я, выждав его выстрела…

– Тоже промахнулись? – догадался Панаев.

– Не совсем так: я выстрелил в сторону. После выстрела противника я мог показать ему полное равнодушие к его участи, и, право, это много приятнее, чем целить в человека, что бы ни говорили рыцари дуэли… Вот, собственно, и все, господа.

Лермонтов направился к письменному столу Краевского, на котором, роясь в рукописях, любил устраивать полный беспорядок. Краевский, опомнившись, быстро обогнал его и встал в оборонительную позу.

– Не буду, не буду! – рассмеялся Лермонтов. Он взял со стола только что вышедшую февральскую книжку журнала. – Какие новые таланты явились в «Отечественных записках»?

– Вот она, твоя «Тамань», – Краевский взял журнал из рук поэта и раскрыл отдел прозы, – вот твоя благоуханная повесть, которой суждено открыть новую эру в изящной словесности. Вот она! – с торжеством заключил он.

Лермонтов мельком взглянул на свою «Тамань».

– Советую беспощадно вычеркивать все «эры» и «благоухания» из критических статей о моей повести, если такие статьи объявятся, – сказал он.

– Ну, будем тогда называть твою повесть русской «Ундиной», в пику достопочтенному Василию Андреевичу Жуковскому, в которого ты на сей раз метил…

– А пора бы и Василию Андреевичу оставить заемные сказки.

– Однако, – назидательно сказал Краевский, – ходят слухи, что сейчас Жуковский в большой силе при дворе.

– Печальная участь для таланта…

– Ох, язык твой – враг твой, Михаил Юрьевич! – Краевский предпочел перевести разговор. – А твой роман? – спросил он. – Разрешила ли наконец его цензура?

– Увы! Цензор все еще размышляет. А кому, как не тебе, Андрей Александрович, знать всю глубину и медлительность этих размышлений! Не завидую, однако, Печорину, он попал в дурное общество и, надо думать, торопится от него избавиться. К сожалению, решение принадлежит не ему, а цензору. Впрочем, жду решения со дня на день.

– А теперь эта проклятая дуэль! – Краевский снова вернулся к только что сообщенному ему известию. – Неужто не понимаешь, Михаил Юрьевич, что теперь ты сам себя поставил под удар? Не ты ли трижды виноват перед словесностью?

Лермонтов, не отвечая Краевскому, обратился к Панаеву:

– Иван Иванович, попотчуйте нас каким-нибудь, только не литературным, известием. Хотя бы в благодарность за историю, которую я вам рассказал.

Но и Панаев чувствовал себя не в своей тарелке. Новость была чревата последствиями, которых нельзя было предвидеть. Оба собеседника наперебой засыпали поэта вопросами о дуэли.

– Довольно, господа! – Лермонтов решительно отмахнулся. – Право, не стоит ни времени, ни труда… Надеюсь, рассказ мой останется тайной?

– Еще бы! – откликнулся Краевский. – Если только в Петербурге может остаться тайной подобная история.

– Нет никаких оснований опасаться огласки, – сказал поэт, – все меры осторожности взяты. – Он еще раз бегло просмотрел книжку «Отечественных записок». – А, вот наконец та статья о Марлинском, которой ты наперед хвастал, Андрей Александрович!

– И вновь рекомендую ее твоему вниманию.

– Михаил Юрьевич! – перебил Панаев. – Своей «Бэлой» вы начали поход против кавказских повестей Марлинского-Бестужева. Теперь, под ударом статьи Белинского, окончательно рухнет его литературная, подточенная временем слава.

– И это будет свидетельством зрелости вкусов нашей публики, если исполнятся ваши слова, Иван Иванович! Забудут повести Марлинского, но история сохранит драгоценное имя Александра Бестужева, доколе будет жить память о людях четырнадцатого декабря. Отдадут дань также критической его деятельности в «Полярной звезде»… А! Именно об этом и говорится в статье.

Поэт бегло перелистал страницы, потом обратился к собеседникам:

– Деятельность Марлинского-Бестужева являет удивительный пример двойственности: борец за идеи, так дорого поплатившийся, он вовсе не отразил этих идей в своих повестях… – Лермонтов отложил журнал и поднял глаза на Краевского. – К слову, о Белинском: будет ли он и далее утверждать, что не дело поэта вмешиваться в правительственные дела? Кажется, именно так сказано было в его статье о Менцеле?

– А мы, – вмешался Панаев, – как раз перед вашим приходом беседовали о философских доктринах Виссариона Григорьевича.

– И что же? – с интересом спросил Лермонтов.

– Черт бы побрал всю философию и всех философов! – перебил в отчаянии Краевский. – Дуэль, твоя проклятая дуэль, Михаил Юрьевич, не идет у меня из ума.

– Полно, Андрей Александрович! Будем верить, что философия и философы просуществуют дольше, чем дуэли. – Лермонтов стал задумчив. – Я не раз был удостоен лестных отзывов господина Белинского, но я отнюдь не считаю, что философия должна мирить нас с нашей действительностью.

– Именно то же самое говорил и я, – с удовлетворением подтвердил Панаев.

– Рад совпадению наших мыслей, – Лермонтов вежливо поклонился Панаеву, и этот поклон скрыл от собеседников иронический огонек, вспыхнувший в его глазах. – Прощу вас, господа, передать чувства моего уважения господину Белинскому и глубокое сожаление, что по обстоятельствам службы не имел удовольствия видеться с ним в последнее время. Многое хотелось бы возразить ему. Думаю, что именно в мире философии всегда будут оправданны и законны самые отчаянные поединки.

Поэт откланялся и, уже уходя, обратился к Краевскому:

– Спасибо за услугу. По счастью, есть на Руси хоть один редактор, у которого можно позаимствоваться чистым бельем. Факт отрадный для изящной словесности!

Лермонтов уехал.

– Мальчишка! Гусар! Дуэлянт! – кричал, выйдя из себя, Андрей Александрович. Он бегал по кабинету, к величайшему удивлению Панаева, который никогда не видел своего в таком откровенном излиянии чувств. – Наследник Пушкина! – продолжал неистовствовать

Краевский. – А он видит в этом наследстве одни только проклятые дуэли. Ну что вы молчите? – вдруг встал он перед Панаевым.

Панаев действительно молчал.

– Кричать надо! – продолжал Краевский и в самом деле опять перешел почти на крик: – Как он смеет рисковать своей жизнью, этот лейб-гвардии драчун! Его надо охранять от него самого… Ну что же вы молчите?

– А и то, – опомнился Панаев, – ведь прежде всего теперь надо молчать. И вам тоже, Андрей Александрович!

– Молчу, ну, молчу! – согласился Краевский, почувствовав вдруг чрезвычайное утомление. – Вы-то смотрите, Иван Иванович, не разболтайте… Знаю я вас! – Краевский еще раз оглянулся на запертые двери. – Нам вручена тайна, от которой зависят судьбы словесности. Боже мой, – снова застонал он, – лучше бы ничего не знать! Черт его сюда принес!.. А в цензуре лежит его роман, который… Одним словом, необыкновенный роман! И по рукам ходит «Демон», эта божественная поэма, которой можно упиться до сумасшествия.

– Удалось ли вам получить хотя бы отрывки из «Демона» для «Отечественных записок»?

– Черта с два! – отвечал свояку Краевский. – Говорит, отдал рукопись каким-то дамам, а те, по обычаю, задевали невесть куда, и уж, конечно, копии у него нет… Или врет? – вдруг усомнился Андрей Александрович. – Узнали бы вы стороной, Иван Иванович, где, у кого кочует «Демон».

Глава третья

Масленица была на исходе. В большом петербургском свете происходили ежедневные балы и маскарады. Молодым людям, принадлежавшим к избранному обществу, приходилось переезжать из дома в дом, с бала на бал и возвращаться под утро.

Граф Ксаверий Владиславович Браницкий не давал ни балов, ни маскарадов. Этот блистательный лейб-гусар вел холостую, но широкую жизнь. Именно у него и собиралась в пятницу на масленой светская молодежь. Собирались, впрочем, поздно. Одни приехали из театра, другие – покинув маскарад, третьи – после катания с дамами на тройках. Никто не боялся опоздать.

Ужин, накрытый в кабинете Ксаверия Владиславовича, так и не убирался. Ярким огням свечей суждено было погаснуть только тогда, когда запоздалое петербургское солнце возвестит о своем явлении бледными отсветами лучей на плотных шторах.

Но еще далек был этот час. Съезд у Браницкого едва начался. Вымуштрованные лакеи успели сменить только первые бутылки букетного вина. Новые гости прибывали.

Странные, правду сказать, были эти ночные сходки. В столице императора Николая Павловича, под носом у графа Бенкендорфа, молодые люди лучших фамилий обсуждали события дня с такой свободой, как будто не было на свете ни императора, ни графа Бенкендорфа.

Хозяин дома, например, справедливо ненавидел русского царя за кровавую расправу с родной Польшей. Впрочем, этот владетель миллионного состояния и многих тысяч польских крестьян никогда не думал о том, что крестьяне, подвластные своим панам, терпят не только от императора России. И сама Польша представлялась Ксаверию Владиславовичу не иначе, как такой, какой видел он ее из высоких окон своих пышных родовых замков.

Браницкий беседовал у стола с молодым дипломатом, князем Иваном Сергеевичем Гагариным. Князь был редкий гость в отечестве и свой человек в парижских салонах.

Браницкий плохо слушал. Всем было известно, что князь Гагарин, вернувшись из Парижа и снова отправляясь туда же, особенно охотно говорил о великом предназначении

России и… О святости католической церкви. Какая тут была связь, не понимал, пожалуй, и сам Иван Сергеевич. Еще меньше понимали собеседники: по-русски князь говорил совсем дурно, а по-французски так быстро, что было опять же трудно уследить за развитием его мысли. Сегодня, впрочем, князь оседлал другого любимого конька. Торопясь и захлебываясь, Иван Сергеевич говорил о том, что русских мужиков нужно прежде всего освободить.

– Освободить… – машинально повторял Браницкий, следя за лакеем, который ловко менял приборы.

– Certainement![1] – подтвердил Гагарин. – Освободить! Не правда ли, как все это просто, господа? – воззвал он к окружающим.

Иван Сергеевич не собирался присутствовать при осуществлении своей идеи. Дипломатическая служба постоянно влекла его за границу. К тому же освободительный проект существовал в княжеской голове совершенно независимо от участи трех тысяч собственных, гагаринских крестьян. В этом вопросе никакой ясности у князя не было. И молодые офицеры гвардии, собравшиеся у Браницкого, почти не слушали Ивана Сергеевича: он давно всем надоел, как осенняя муха.

В кабинет вошел статный, красивый молодой человек, одетый в щегольской фрак. Его приход вызвал общее движение.

– Столыпину ура! – провозгласил офицер-конногвардеец.

Все обратились к вошедшему с бокалами в руках. Это было похоже на демонстрацию. И не зря. Совсем недавно Алексей Аркадьевич Столыпин сменил гусарский ментик на фрак. Вынужденная отставка произошла из-за столкновения с самим императором по очень щекотливому делу. Столыпин ловко способствовал выезду за границу светской дамы, уклонившейся от любовных притязаний монарха. За это и чествовали храбреца.

– Лермонтов еще не был? – спросил Столыпин у Браницкого, обмениваясь рукопожатиями с друзьями.

– А зачем он тебе?

– Есть к нему дело, – уклончиво отвечал Алексей Аркадьевич. Не мог же он объявить, что только на днях был секундантом Лермонтова на дуэли с Барантом.

Между тем застольная беседа перешла на важные темы. Собравшиеся дружно поносили деспотизм, утвердившийся в России. Об этом много могли рассказать и граф Андрей Шувалов и отставной гусар Николай Жерве. Оба они уже были сосланы на Кавказ за гвардейские шалости. Жерве не вынес азиатского деспотизма и вышел в отставку. Граф Андрей Шувалов был возвращен на испытание в лейб-гвардии гусарский полк. Здесь составилось то «осиное гнездо», которое давно грозился разорить великий князь Михаил Павлович. Впрочем, это было еще не самое страшное. Страшны были беспощадный гнев и месть императора. Сейчас всех занимала участь офицера гвардии князя Сергея Трубецкого. Он уже отбыл однажды кавказскую ссылку вместе с Жерве и Шуваловым, а недавно, без всяких видимых причин, был вторично сослан на Кавказ по именному высочайшему повелению.

– За что? – горячился Жерве. – Или только за то, что не вовремя попался на глаза Чингисхану?

– За здоровье Трубецкого! – поднял бокал хозяин дома.

Все дружно чокнулись.

– Позволь дополнить твой тост, Браницкий, – сказал, выходя из задумчивости, совсем юный гусар, князь Александр Долгорукий, – Поднимем бокалы за то, чтобы закон и справедливость, а не проклятый деспотизм, управляли судьбой всех нас.

[1] Конечно, безусловно *(франц.)*.

– Браво, юнец! – поддержал Долгорукого новый гость, офицер флотского гвардейского экипажа. Он приветливо улыбнулся Долгорукому. – Неужто в Пажеском корпусе его величества учат таким лихим тирадам?

Долгорукий вспыхнул: он только что окончил корпус и всякое напоминание об этом готов был принять за личное оскорбление.

– Фредерикс, – отвечал он, – неужто ты утратил способность разделять человеческие чувства?

– А! Вот и ответная стрела, напоенная ядом! – рассмеялся Фредерикс. – Сражен, юнец, право, сражен!

– К делу, к делу! – прервал Браницкий, который до сих пор разговаривал со Столыпиным. – Коли ты, Фредерикс, наконец явился, так и перейдем к придворной хронике. Слово за тобой!

Все обратили взоры к Фредериксу. Даже отчаянные игроки покинули биллиардную и присоединились к обществу. Связи Фредерикса с Зимним дворцом были очень близки и интимны – его мать слыла любимой подругой императрицы.

– Что же новенького вам рассказать? – Фредерикс, видимо, был польщен общим вниманием. – Представьте, молодой Барятинский все больше входит в фавор.

– Ну и новость! – недовольно протянул Столыпин. – История тянется едва ли не второй год.

– Совершенно верно, – подтвердил Фредерикс, – но сейчас дело зашло так далеко, что в интимном кружке их величеств тайно обсуждался вопрос о возможности бракосочетания великой княжны Ольги Николаевны с князем Барятинским. Итак, на дворцовом горизонте восходит новое светило, господа. Да ты ведь хорошо его знаешь, Лермонтов! – продолжал рассказчик, обращаясь к поэту, который только что приехал и, остановясь в дверях, внимательно слушал.

– Имел честь быть вместе с Барятинским в юнкерской школе и, каюсь, почтил князя весьма неназидательной поэмой. Разумеется, я писал бы иначе, если бы больше знал о его амурных талантах… Но прости, Фредерикс, я, кажется, перебил тебя?

– Да я сказал, пожалуй, все.

– Барятинский пойдет протоптанной дорогой, – продолжал Лермонтов. – При русском дворе такую карьеру делали и певчие, и истопники, и просто умалишенные. Почему бы и сиятельному кирасиру не занять соблазнительную вакансию?

– Если с этой стороны вникать в историю царствующего дома, – вмешался Столыпин, – мы никогда не кончим, господа.

– Позор! – вскипел Александр Долгорукий.

– Романтик! – улыбнулся ему Лермонтов. – К Барятинскому есть другой счет, господа. Помните ли вы, что он публично выражал сочувствие убийце Пушкина и добился высокой чести посетить арестованного Дантеса?

– Стало быть, Лермонтов, он хорошо помнит и твои тогдашние стихи?

– Признаюсь, я метил в подлецов покрупнее. Однако с тех пор мы с Барятинским разошлись. Но на последнем новогоднем маскараде я собирался принести ему поздравление с амурной карьерой при дворе… Надо было видеть величественную рожу Барятинского: поздравление было бы вполне своевременно.

– И ты поздравил? – раздались голоса.

– К сожалению, не успел. Помешала неожиданная история.

– Рассказывай!

– Но входит ли подобный рассказ в программу наших сходок? – серьезно обратился поэт к Браницкому.

– К делу, к делу! – отвечал хозяин дома.

– Продолжаю, господа. Их высочества Ольга и Мария Николаевны были на маскараде в розовом и голубом домино, и, разумеется, все делали вид, что не могут раскрыть эти прелестные инкогнито. Таинственные домино непринужденно резвились, конечно под тайным попечением голубых мундиров, и, резвясь, стали интриговать меня, хотя я не искал подобной чести.

– Сюжет, достойный Боккаччо, – перебил Шувалов.

– Не совсем так. Я двинул сюжет по собственному разумению. Мне оставалось поверить в инкогнито, как делали все. А поверив, я воспользовался свободой маскарадных обычаев и отвечал на интригу так, как отвечают навязчивым камелиям.

Дружный хохот покрыл слова поэта.

– Ну, а развязка? – едва мог проговорить Жерве.

– Прелестные домино взвизгнули от перепуга и исчезли. Как видите, мой подвиг не велик.

– Ну, держись теперь, Лермонтов! Такой выходки никогда тебе не простят, – заявил Фредерикс.

– Тем более не простят, что эта история вдохновила меня на стихи, а стихи я напечатал в «Отечественных записках» с точным обозначением: «1 января». Нет только посвящения их высочествам.

– А знаешь ли ты, что на тебя готовится литературный пасквиль?

– Ты говоришь о повести, которую сочинил граф Соллогуб?

– Именно! – подтвердил Фредерикс. – Барятинский, присутствовавший на чтении повести в августейшей семье, очень ее одобрил. Теперь я понимаю, откуда ветер дует.

– Как видишь, – отвечал поэт, – у меня с Барятинским давние счеты. Никогда не прощу подлецу его искательства к Дантесу… Ну, рассказывай дальше, Фредерикс!

– Карьера Барятинского только начинается, пожалуй, – продолжал Фредерикс. – Говорят, он обложился книгами, изучает дипломатию и историю отношений России с Востоком. Роман бравого кирасира с пылкой княжной может открыть новую страницу во внешней политике России. А зная неуемное честолюбие Барятинского…

– Хуже, чем при Нессельроде, не будет, – подал голос Жерве.

– Почему?

– Хотя бы потому, что хуже не может быть, – пробасил Шувалов. – Где престиж России, если внешнюю политику се направляет беглый австриец, алчный взяточник и круглый дурак!

– Но ты забываешь о графине Нессельроде, – перебил Столыпин. – Коли так аттестуешь нашего министра, что же сказать об управляющей им злобной колдовке?

– Господа, господа! – взывал Браницкий, видя, что порядок нарушен. – Прошу вернуться к вопросу о внешней политике России. Гагарин, что слышно во французском посольстве?

– Между нами, – заговорил князь Гагарин, подыскивая слова, – между нами, как говорят на Руси, барон де Барант ощущает растерянность… Да, именно так: растерянность, которую не может скрыть.

При этих словах Столыпин переглянулся с Лермонтовым. Поэт сидел около стола, не прикасаясь к бокалу, и прислушивался к словам Гагарина.

– Да, да, – продолжал Гагарин, – положение остается чрезвычайно напряженным. С тех пор как Франция поддержала восстание египетского паши против турецкого султана, наш император рассматривает это как вмешательство Франции в восточные дела и отозвал посла из Парижа.

– Гагарин, мы не школьники, всем это давно известно!

– Но поймите, посол граф Пален находится в Петербурге уже три месяца и до сих пор не получил указания вернуться в Париж. Французское правительство рассматривает это как враждебную демонстрацию, и барон де Барант опасается, что его тоже могут со дня на день отозвать в Париж.

– Туда ему и дорога, – сказал Столыпин.

– А что будет дальше? – Гагарин беспокойно развел руками. – Если так будет продолжаться, в воздухе может запахнуть порохом.

– И вот, господа, теперь понятно, – включился в разговор Фредерикс, – почему такая тревожная атмосфера царит в Зимнем дворце и почему французский посол испытывает смятение и не может его скрыть.

– Послушай, Гагарин, – вмешался Столыпин, – а молодого Баранта ты видел?

– Ну конечно, – не без удивления отозвался Гагарин. – Каждый день его вижу. Эрнест, как всегда, обаятелен и мил… Но почему ты о нем спросил? Эрнест не делает никакой политики.

– Ошибаешься, Гагарин, он тоже делает политику, – перебил Столыпин, – у петербургских кокоток.

Снова раздался общий хохот.

Граф Браницкий неодобрительно покосился на Столыпина. Хозяин дома старался направить беседу на серьезные темы. Он оглянулся, ища глазами Лермонтова.

– Михаил Юрьевич! – окликнул его Браницкий. – Что слышно о твоем Печорине?

– Ему ныне везет, – отвечал поэт. – Но, по-видимому, у нас на Руси должно сначала умереть даже литературному герою, чтобы не заподозрило его в чем-либо бдительное начальство. Словом, роман мой только что победно прошел через цензуру.

– Виват! – воскликнул Браницкий.

Молодые люди дружно его поддержали.

– Я читал твои повести в «Отечественных записках», – сказал поэту Жерве, – и помню читанное тобою из «Княжны Мери». Кто из нас, побывавших на Кавказе, не оценит верности набросанных тобою картин! Боюсь сделать вывод, однако предвижу: критика непременно обвинит твоего Печорина в безнравственности.

– Тартюфы всех времен более всего пекутся о нравственности, – отвечал Лермонтов. – А наши журнальные тартюфы, не имея большой ловкости, отличаются отменным усердием. Не тем ли был встречен и Онегин?

– А Печорина непременно назовут младшим братом Онегина, – включился в разговор Фредерикс. – Не уйти ему от этого опасного родства.

– Я сам имел дерзость поставить моего героя в прямое родство с Онегиным.

– Да объясни, сделай милость, – перебил Шувалов, – кто он такой, твой Печорин, если уж зашла о нем речь?

– Плохо для автора, если замысел его не будет понят без объяснений. – Поэт на секунду задумался. – Герой мой, ничего полезного не совершивший и умерший бесплодно, должен был умереть, хотя бы для того, чтобы у вас, господа, родился вопрос: для чего же мы живем?

– Ты хочешь сказать: в России не дают человеку святого права честно и с пользой для человечества жить? Так выходит? – спросил Жерве.

– Если хочешь, – может быть, и так, – согласился Лермонтов. – Но мой Печорин хоть в дневнике своем писал: я, как матрос, выброшенный на берег, жду, не мелькнет ли в туманной дали желанный парус. А нам с вами и того не суждено. Чтобы плавать в луже нашего благополучия, нет нужды мечтать ни о парусе, ни о бриге… – Лермонтов вдруг оборвал речь: – Но довольно о Печорине! Что нового в театрах, господа? Я не был там целую вечность.

– Нет, нет, постой! – вскочил с места Жерве. – Если твой Печорин получил подорожную и теперь явится перед читателями, то давайте и посвятим ему остаток ночи. Мне кажется, твой Печорин родился от твоей же «Думы».

– Пожалуй, и так будет верно, Жерве, – снова откликнулся Лермонтов, уклоняясь от разговора. – Но, право же, никому, кроме меня, не интересна родословная Печорина.

– Оставь шутки, Лермонтов! – Жерве смотрел на него с укоризной. – Не впервой мы судим и спорим о твоих созданиях. А «Фаталист»? Ведь и там снова говорится о людях, скитающихся по земле без убеждений… Неужели ты не видишь исключений?

– Не знаю, как избавиться от твоего допроса, Жерве. Да и стоит ли Печорин такого диспута? Не лучше ли те герои, начиненные романтизмом, которые толпами населяют наши книги и журналы, или хотя бы мы сами?.. Мы служим, выслуживаем чины, читаем, конечно, не бог весть что, а чаще всего отчеты управителей имений, и читаем их до тех пор, пока жестокая жизнь не освободит нас и от имений и от управителей. А потом, разорившись, снова служим…

– Уж не в наш ли огород летят твои камешки, Лермонтов? – спросил Шувалов.

– Помилуй, кто посмеет говорить о разорении, зная состояние Браницкого, Фредерикса или твое, Шувалов! Нет, избави меня бог от личностей!

– Мы горим желанием послужить отечеству, если нужно об этом напоминать, – вмешался в разговор Долгорукий.

– И поэтому нас только шестнадцать, участвующих в этих важных сходках? Да и что в них проку, Долгорукий? – резко отвечал Лермонтов. – Какая наша цель? Просвещение? Но любой студент знает больше нас. Самооправдание? Наивная, жалкая подачка совести! Ненависть к деспотизму? Какая смиренная ненависть! Мы говорим, говорим и, кончив одну бесплодную сходку, начнем другую. Не мы ли и есть герои времени?

– Нелестно же, Лермонтов, ты о нас судишь!

– Почему о вас? – возразил поэт. – А может быть, о нашем времени?

Поэт отошел к столу. Налил вина в бокал, смотрел, прищурясь, как играют хрустальные грани. Из биллиардной снова слышались щелканье шаров и возгласы игроков. Гости, оставшиеся в кабинете, наскучив литературным разговором, разбились на группы. Только разгорячившийся Жерве, юный Долгорукий да еще два-три офицера оставались подле поэта.

– Помнится, я никогда не читал вам одно из детских своих мараний? – Лермонтов с минуту колебался: – Ну, извольте слушать. Называется «Жалобы турка». Самое название свидетельствует о том, как я был хитер в пятнадцать лет. Мне верилось, что ни один цензор, ни один жандарм не догадается, о судьбах какой страны печалится мой турок. А турок мой, описав в стихах некий дикий край с его поблекшими лугами, продолжал:

И где являются порой
Умы и хладные и твердые как камень?
Но мощь их давится безвременной тоской,
И рано гаснет в них добра спокойный пламень,

А почему? И на это ответил всеведущий турок:

Там рано жизнь тяжка бывает для людей,
Там за утехами несется укоризна,
Там стонет человек от рабства и цепей!
Друг! этот край… моя отчизна!

Не этот ли самый турок, господа, бесследно скрывшийся, оставил ключ и к моему роману? Но то, что было ясно хитрому турку, то навсегда останется тайной для Печорина… Тщетно будет он искать причины страданий в себе самом. Впрочем, не пристало мне давать объяснения за своего героя, пусть сам говорит с читателями.

– Итак, господа, – сказал после общего молчания Жерве, – всегда, о чем бы мы ни заговорили, неминуемо встает перед нами проклятое рабство. И Печорин, не нашедший пути, лишь повторяет, оказывается, у Лермонтова его поэтическую жалобу, вырвавшуюся в детстве. Ты прав, Михаил Юрьевич, рабство калечит всех – не только рабов, но и рабовладельцев. Но если это так, к тебе прямой вопрос: как с рабством бороться?

– Не знаю, – коротко ответил поэт. – По-видимому, на Сенатскую площадь мы еще раз не пойдем.

– Так что же, по-твоему, делать?

– Друзья мои, – отвечал Лермонтов, – наш разговор о романе, который еще не вышел в свет, не приведет нас к решению, впрочем, как и всякий другой разговор… Не пора ли расходиться?

– Не торопись, Лермонтов, и не торопи других. Господа! – возвысил голос Браницкий. – Нам непременно нужно обменяться мнениями о действиях Секретного комитета по крестьянским делам. Кто имеет сообщить новости?

– Представьте, господа, комитет никак не может уяснить своих задач и не решается испросить указаний его величества, – объявил Шувалов.

– Однако известия о комитете, проникшие в общество, уже вызвали сильное неудовольствие его величества, – добавил Фредерикс.

– Но у кого же есть верные сведения о предположениях комитета? – тщетно взывал Браницкий.

Таких сведений ни у кого не оказалось. Комитет, насмерть перепуганный первыми слухами об ожидающихся от него реформах, не проявлял ни малейших признаков жизни.

– Не надо быть пророком: у Секретного комитета не окажется ни тайных, ни явных дел, – заключил Лермонтов. – Разве что отважатся старцы пустить очередной мыльный пузырь! Не в первый раз собирают их для этих невинных упражнений… Когда же назначена наша следующая сходка, господа?

– Как всегда, в пятницу, – объяснил Браницкий.

– А я чуть не забыл о табельных днях заседаний нашей тайной палаты… Жаль, – продолжал Лермонтов, – что не имел возможности вовремя рекомендовать в члены Григория Александровича Печорина. Пожалуй, это был бы наиболее достойный наш собрат… Может быть, ему не пришлось бы ехать от тоски в Персию. К тому же и нас стало бы уже не шестнадцать, а семнадцать.

– Ты все шутишь, Лермонтов! – с укоризной перебил князь Гагарин. – Ты не хочешь видеть, что мысли наши обращены к возвышенному.

– Но если бы я не уважал стремления к возвышенному, – с серьезным видом отвечал Лермонтов, – я бы, пожалуй, не разделял тогда ни тайны, ни опасности этих сходок.

– А ты думаешь, тайна наша в опасности? – осторожно осведомился Браницкий.

– О, ничуть! Сам граф Бенкендорф не подозревает, какой страшный заговор здесь зреет. Но если когда-нибудь ученые мужи, обратясь к истории, вздумают всерьез говорить об этом, какую напраслину взведут они на нас, не способных обходиться без лакеев даже на тайных сходках!.. Итак, до очередной пятницы, господа!

– Едем, Мишель! – встал с места Столыпин.

…Они вышли на безлюдный Невский.

– Пройдемся, – сказал Лермонтов.

Друзья отпустили лошадей и пошли к Литейному проспекту.

– Как твое ранение? – спросил Столыпин.

– Я уже забыл об этом пустяке.

– А я хотел ехать к тебе в Царское, Мишель, если бы не встретил тебя сегодня у Браницкого. Есть неприятные новости. Говорят, прекрасная Бахерахтша, узнав неведомо как о твоей дуэли, уже болтает о том в гостиных.

– Так… – равнодушно откликнулся Лермонтов. – По счастью, ей придется довольствоваться только собственной болтовней.

– До нее, по-видимому, дошел слух, что дуэль произошла из-за Щербатовой. Какая же женщина способна это простить! Кстати, ты был у Щербатовой?

– Был… Милая княгиня горько плачет, убежденная в том, что Барант искал встречи со мною именно из-за нее, и во всем себя винит.

– Пожалуй, у нее есть для этого некоторое основание, – заметил Столыпин.

– Я не стану ее разуверять, – ответил поэт. – По-видимому, она искренне волнуется. И слезы, если только слезы женщины что-нибудь значат, служат тому порукой. Право, ей не было бы легче, если бы она знала, что Барант искал столкновения со мной во что бы то ни стало; он раскрыл свои карты, когда пренебрежительно отозвался о русских, не остановясь даже перед именем Пушкина.

Столыпин молча слушал горячую речь. По-видимому, его гораздо больше занимали слухи, распространявшиеся по гостиным.

Госпожа Тереза Бахерахт, недавно явившаяся в петербургском свете, была известна эксцентричностью поведения, влечением к поэзии и к поэтам и неудержимой склонностью к собиранию и умножению сплетен. Положение осложнялось тем, что госпожа Бахерахт не скрывала своего пылкого внимания к «демоническому русскому поэту», как она называла Лермонтова.

– А что ты думаешь предпринять против Бахерахтши? – спросил Столыпин. – Смотри, она в самом деле может начать интригу.

– Пустое! – отмахнулся Лермонтов. – Кто даст веру сплетням Бахерахтши?

– Тебе ли, Мишель, не знать изобретательности женщины, мстящей за отвергнутое чувство! Особенно если эта женщина сама принадлежит к дипломатическому миру.

– Но тем меньше ей нужды ввязываться в эту интригу, Монго!

Так называл Лермонтов своего друга и родича Алексея Столыпина и увековечил это прозвище в своих шуточных поэмах.

– Мишель, – отвечал Столыпин, – ты забываешь о нравах дипломатов и дипломаток! Кто знает, может быть, жена русского консула в Гамбурге имеет свои цели, чтобы прислужиться послу Франции или графу Бенкендорфу… А Тереза Бахерахт рождена для интриг.

– Разве только для мелких, Монго!

– Как сказать! А если Бахерахтша гонится сразу за двумя зайцами – жаждет утолить мщением свою ревность к Щербатовой и одновременно хочет сыграть какую-то темную роль? Помни, мне наверное передавали о болтовне Бахерахтши. Что нам делать, если она действительно проникла в тайну дуэли?

– Если так, все будет бесполезно, – отвечал Лермонтов. – Сам дьявол не сладит с женщиной, если ей захочется мстить. Во всяком случае, Бахерахтша не дождется моих просьб. И ты не беспокойся, Монго, дело с Барантом сошло с рук как нельзя лучше!

– Сошло ли? – в задумчивости переспросил Столыпин. – Во всяком случае, я хотел тебя предупредить… Ты завтра в городе, Мишель?

– По счастью, вырвался на целые сутки. Замучили меня полковыми учениями и держат на особой примете.

– А что нового в полку?

– После твоей отставки решительно ничего. Тоска и муштра…

Они стояли у подъезда дома на аристократической Сергиевской улице.

– Зайдем к бабушке, Монго? – сказал поэт.

– Ты сошел с ума! В этакой-то час?

– А бабушка, знаю, все равно не спит, меня ждет. Только вот беда: едва словом с ней перемолвлюсь – и опять скачи в Царское… Счастлив ты отставкой, Алеша. Ну, будь здоров! Побегу к бабушке. Ох, сколько ей хлопот с внуком! – Он остановился в подъезде и сказал с затаенной нежностью: – Только любовью моей и могу ей отплатить…

Глава четвертая

Весь следующий день Михаил Юрьевич провел в разъездах. Теперь, когда роман был пропущен цензурой, можно было завершить деловые переговоры с издателем. Краевский еще не рисковал браться за издание книг. На «Героя нашего времени» нашелся охотник из театральных чиновников, промышлявший около литературных дел. Он мог предложить автору свое беспрекословное усердие и мизерный гонорар.

Дело сладилось. После этого Лермонтов заехал к Карамзиным. В гостиной, в которой царила дочь покойного историографа София Николаевна Карамзина, встречались люди высшего света, дипломаты, литераторы, художники, музыканты. Как всегда, здесь обсуждались самые разные события петербургского дня. Но и у Карамзиных никаких слухов о дуэли не было.

Поэт приказал ехать на Сергиевскую.

– Совсем вас, Михаил Юрьевич, заждались, – встретил его лакей. – Барыня чуть не с полдня на картах раскидывают.

Лермонтов сбросил шинель и направился к бабушкиной опочивальне.

– Едва вырвался от Карамзиных. Софья Николаевна непременно приказала вас расцеловать, – говорил поэт, целуя Елизавету Алексеевну. – А вы картам, бабушка, не очень верьте. Карты непременно обманут, а я, видите, здесь!

– Ох, голубчик мой, – говорила Елизавета Алексеевна, лаская внука, – не я, сердце заждалось. Что мне с ним делать? Утешения требует, а ты у меня один свет в окошке. Спасибо, хоть к обеду не опоздал.

– Ничего не хочу! – Он сел около бабушки и сказал с тоской: – Устал я, бабушка! Если бы хоть кто-нибудь знал, как я устал!

– А с чего, родной? – забеспокоилась старуха. – Неужто тебя в полку этак загоняли?

– Конечно, и в полку. Но полк – пустяки, только подать в отставку…

– Опять, Михайла? – перебила Елизавета Алексеевна. – Мало ли тебе люди говорили, и поважнее меня, и умом зоркие: нельзя тебе в отставку, коли ты у начальства на примете. Всю жизнь погубишь!

– А может быть, только тогда и заживу, когда займусь, бабушка, делом, – словно бы размышляя, отвечал Михаил Юрьевич.

– Это каким же таким делом? Совсем в сочинители подашься? Нашел дело! А я, родной, все мечтаю – в годы войдешь, отстанешь от сочинительства.

– Не хитрите, бабушка, – улыбнулся поэт. – Ведь вижу, сами мое маранье читаете.

На рабочем столике Елизаветы Алексеевны действительно лежала свежая книжка «Отечественных записок», раскрытая на тех страницах, где была напечатана «Тамань».

Она взяла журнал и, задумчиво переворачивая страницы, продолжала:

– Твоя правда, читаю. И все думаю: в кого ты этакий уродился? В деда-покойника, что ли? Тот, царство ему небесное, все на театрах играл… Только кончил-то как? Сам знаешь, неладно кончил. – Старуха умолкла.

С мужа Елизаветы Алексеевны и началась трагедия в доме Арсеньевых. Она началась с того страшного дня, когда во время представления на домашнем театре в своей пензенской деревне Тарханах Михаил Васильевич Арсеньев кончил жизнь самоубийством. Должно быть, уж очень переплелись тогда театральные увлечения незадачливого помещика с бурной страстью к соседке… А потом замужество единственной дочери и ранняя ее смерть. Все житие Марии Михайловны было двадцать один год, одиннадцать месяцев и семь дней. И упорная, тяжелая борьба Елизаветы Алексеевны с зятем за право единовластно владеть осиротевшим внуком…

И вот он сидит перед ней, этот единственный внук, и кажется бабушке, что нет на свете подобного красавца, облаченного в гусарскую форму. Нет на свете никого и ничего, кроме Мишеля.

– А роман-то твой как? – спросила бабушка.

– На днях пойдет к типографщикам, – ответил внук.

Елизавета Алексеевна тревожно взглянула на него.

– Коли так, изволь-ка ответ держать: как у тебя в полку будет? Поди, с романом-то непременно на особое замечание попадешь?

– Пока сходит с рук. Уверяю вас, в полку никаких неприятностей у меня нет.

– А что на сердце лежит? Не утаивай, все равно допытаюсь!

– Вам и пытать меня не надо, сам покаюсь. Выйдет в свет роман, а далее хочу собрать мои стихи. Не все, конечно, а те, что хоть сколько-нибудь достойны внимания. Думаю, десятка два при снисхождении отберу…

– О господи! – всполошилась Елизавета Алексеевна.

– Что с вами, бабушка? Чем я вас так встревожил?

– А тебе и невдомек? Ты, Михайлушка, знай – пуганая ворона куста боится. Коли тебя за ненапечатанные стихи на Кавказ услали и я тебя оттуда еле достала, так долго ли голову сносить, если будешь и в журналах печатать и книги выпускать! Я, милый, как твою пьесу в журнале увижу, так по всем церквам свечи ставлю и молебны заказываю.

– Неужто помогает? – усмехнулся поэт.

– Не нам знать. Отец Никодим из приходской церкви как-то спрашивает: «Что это вы, достопочтенная Елизавета Алексеевна, все молитвы к всевышнему воссылаете об утолении злобы? Какая у вас тревога?» А я, милый, кое-как мнусь: не могу же я протопопу брякнуть, что внук, мол, у меня в сочинителях ходит, как же мне не молить всевышнего о спасении от злобствующих?

– Сама мудрость руководит вами, – Лермонтов рассмеялся. – Чего же мне опасаться, если вы отца Никодима и всех чудотворцев на ноги поставили!

– А мне каково? – не унималась бабушка. – Ты там какого-нибудь «Демона» сочинишь, а мне новые хлопоты. Этак, пожалуй, никогда из церквей не выйдешь. Или уж прямо мне в монастырь идти?.. Ты, Мишенька, хоть бы рвение умерил.

– Не волен я в себе, – серьезно отвечал внук. Он снова присел около Елизаветы Алексеевны и обнял ее. – Вы, бабушка, то поймите: не могу! Мне не писать – все равно что не дышать.

– А разве я того не знаю? Потому и тревожусь, Мишенька, денно-нощно тревожусь: знаю, что никакие молебны не помогут, коли опять что с тобой случится, а все-таки твои писания читаю. Думаешь, бабка из ума выжила? Нет, Михайлушка! Я то в беспокойство впаду, а то будто вдруг меня утешишь. Признаться, хоть и стара я, и от веку отстала, и не все, может быть, пойму, а чем больше читаю, тем яснее вижу – глубокая печаль у тебя на душе, а смирения нету.

– Нет, бабушка, – подтвердил Лермонтов.

– И это знаю. А может, и не надо его, смирения-то? Я ведь тоже смолоду не смирилась. А может быть, и никогда не смирюсь. Думаешь, только за твою участь беспокоюсь? Нет, милый, в моем сердце и гордость есть, за тебя гордость. Пусть высокому начальству не нравится. Им всякое правое слово не ко двору, уж очень послушание любят. Ну, а ты у меня сам беспокоен и людей теребишь. А может, так оно и надо? – И Елизавета Алексеевна вопросительно посмотрела на внука.

– Вы, бабушка, все понимаете. Вы у меня министр!

– Не улещай! Эдак ты меня и графом Бенкендорфом объявишь.

– Вот до этого, признаюсь, никогда бы не додумался… Из Тархан, бабушка, известий не было?

– А что ж Тарханы? Стоят себе на месте, и хлеб прикащик будто ладно продал. А может быть, погодить до весны, цены поднялись бы?

Лермонтов слушал рассеянно, потом взглянул на бабушку.

– Вот вы говорите – беспокойный я человек. Пусть так! А как же, бабушка, спокойно-то жить, коли и в Тарханах и повсюду…

– Ну, пошел, пошел! – отмахнулась старуха. – Все наперед знаю. А совесть моя перед людьми чиста. Не Салтычиха же я! У меня все по закону. Если мужик не балует да мне усердствует, нешто я ему враг? Ничуть! От нищих-то мужиков и господам с сумой по миру идти. Одним интересом живем. Разве не так?

– Может быть, и так. Как по-вашему, не знаю. Только мужики-то судят иначе, а при случае, может быть, и Емельяна Пугачева вспоминают.

– Ты-то не поминай лиха! Было – и сгинуло. Это вы, нынешние, Пугачу и разбойникам его акафисты поете. Помню, ох, помню твое писанье! А ты, Мишенька, те листы про горбуна Вадима сжег?

– Бросил, честное слово, бросил… Теперь самому читать смешно.

– Значит, не сжег. Господи ты, боже мой!

– Ну, а какой прок, если бы и сжег? Все равно сызнова возьмусь, только, разумеется, иначе.

– Свят, свят, свят! – огорчилась старуха. – Непереносно тебя слушать! Даже по жилам холод ходит. Погубишь ты себя, Михайла!

– А молебны на что? Всем святым отслужим.

– Кощунство твое тоже брось. Не потерплю! Замолчи, сделай милость! Иди отдыхай до обеда, да и мне распоряжения сделать надо. – И Елизавета Алексеевна поднялась с кресла, опираясь на неразлучную трость.

Лермонтов ушел в свою комнату. Здесь, у бабушки, он был дома; в Царском Селе, где стоял лейб-гвардии гусарский полк, жил будто в походном лагере. Там – трубки, седла, чубуки, жженка, гусары; здесь – Шекспир, Байрон, энциклопедисты Франции, Шиллер и, конечно, Пушкин.

Книги живут у бабушки, пока внук кочует из полка в полк, из столицы на Кавказ, с Кавказа в столицу. Только здесь, подле своих книг, и чувствует себя как дома поэт, укрытый от вражьих глаз, от назойливых посещений, от гусарской шумихи, от всеслышащих ушей.

Надо разобраться в письменном столе, где скопились рукописи и заметки. Он выдвинул верхний ящик и только стал перебирать тетради – на него глянула Варенька Лопухина. «Моя мадонна» – так называл ее когда-то студент Московского университета Михаил Лермонтов. А мадонна вот уже пять лет зовется по мужу Варварой Александровной Бахметевой. Долго вглядывался в заветный портрет Михаил Юрьевич. Варенька написана им по пояс. На ней шелковое закрытое платье с меховым воротником… Памятная греческая прическа и милая родинка-уродинка над левой бровью. О, с каким лихорадочным волнением он писал

когда-то этот портрет, стараясь прочесть в ее глазах тайну измены! Но какая кисть передаст изменчивую прелесть этого лица?..

…все ее движенья,
Улыбки, речи и черты
Так полны жизни, вдохновенья,
Так полны чудной простоты…

Когда-то Варенька Лопухина шепнула ему, улучив минуту: «Я никому, кроме тебя, не буду принадлежать…» Помнит ли об этом госпожа Бахметева? Он никогда не давал ей никаких клятв. Но разве клятвы нужны сердцу, полюбившему на всю жизнь?

У ног других не забывал
Я взор твоих очей,
Любя других, я лишь страдал
Любовью прежних дней…

Так писал он Вареньке в озаренные любовью к ней студенческие годы. Он ли виноват в том, что случилось с Варенькой в Москве?

Расстались мы, но твой портрет…

Михаил Юрьевич задвинул ящик письменного стола. Звонко щелкнул ключ. Несколько минут ходил, рассеянно насвистывая какой-то привязавшийся мотив, потом остановился перед мольбертом, на котором стояла в тщетном ожидании давно начатая картина. Живописец, прищурившись, посмотрел. Меж кавказских гор едет одинокий всадник в бурке. Ночные тени почти скрывают путника, а там, на краю неба, уже чувствуется едва уловимый свет. Так задумана эта картина, и автор долго и упорно будет добиваться того, чтобы запечатлеть на холсте утренние светотени.

Сколько раз, будучи на Кавказе, вот так же скакал он в горы, словно хотел один-одинешенек встретить первый багряный луч. Но разве и тогда, в этих скачках, он был одинок? Разве мог забыть, что где-то в Москве, в арбатском особняке господина Бахметева, томится его плененная любовь?

Правда, теперь он почти ничего о Вареньке не знал.

Книги, картины, акварельные наброски, рукописи, фортепиано, скрипка – все ждет его в этой комнате, будто хозяин отлучился на минуту и, вернувшись, с головой уйдет в начатые дела и любимые занятия.

Каждый раз, когда Михаилу Юрьевичу удается вырваться из Царского Села, позабыть о полковых учениях, об офицерских пирушках и открыть дверь в эту тихую комнату, ему кажется, что вот-вот начнется новая жизнь. И тогда он долго стоит в задумчивости перед письменным столом или перед мольбертом. Никак не расстаться ему с мечтаниями о другой, совсем другой жизни.

Но какова бы ни была эта другая жизнь, он всегда будет ждать: не распахнутся ли тяжелые двери арбатского особняка, не выбежит ли оттуда милая пленница, прежняя Варенька?

Бывают минуты, когда не только в сердце, но и в голову лезет всякая чепуха…

Михаил Юрьевич тщательно умылся, облекся в домашний халат и прилег на тахту. Закрыл глаза – не дремлется. Отвернулся к стене – не отвязаться от беспокойных дум.

Поэт встал, сел к фортепиано. Положил руки на клавиши и начал подпевать в четверть голоса: «Что в поле за пыль пылит…». Это была одна из любимых его песен, но пел он недолго – было смутно на душе.

– Кушанье подано, – доложил лакей.

За столом он был сегодня один с бабушкой, и, должно быть, это был самый счастливый обед для старухи. Она усердно потчевала внука, сама выбирала для него любимые кусочки и кивала лакею, едва внук начинал что-нибудь искать на столе рассеянным взглядом.

Обед был поздний, и каждую лишнюю минуту хотела выиграть бабушка, зная, что не удержит внука на весь вечер. Но, как назло, слуги подавали кушанья с отменным проворством. Сама на себя попеняла Елизавета Алексеевна, что так вымуштровала людей. А тут, едва кончился обед, ни на минуту не замедлили подать десерт и кофе. Быстро кончаются на свете все обеды, еще быстрее кончается всякое счастье на земле. Михаил Юрьевич встал из-за стола, по обычаю поцеловал бабушке руку и взглянул на часы.

– Я отлучусь, бабушка, не вините меня. Но перед отъездом в Царское непременно заеду, хотя бы на часок.

Сказал – и был таков. И сразу стало темно в столовой, несмотря на парадные свечи. Теперь уж не найти места старухе во всей просторной квартире, пока не услышит сызнова звон знакомых шпор.

В безотказной старческой памяти длинной чередой проходят прошлые и будущие тревоги. Каково ей одной, своими слабыми руками, уберечь внука от всех напастей в его мятежной жизни! Каково-то ей одной, одними своими молитвами, уберечь беспокойного внука, когда он знай печатает в журналах стихи и повести, замышляет книги и идет своим путем, никого не сторонясь и ни перед кем не сгибаясь, не страшась ни ссылки, ни гневных взглядов, которые, может быть, бросают на его писания там, куда не может даже проникнуть ее старческий взор…

– А молодец Михайлушка! – говорит вслух Елизавета Алексеевна. – Я тоже ни перед кем не согнулась.

И точно. Когда затеял свой амур с соседкой ее муж, выслала она навстречу разлучнице верховых и объявила ей поворот от ворот. Тщетно ждал Михаил Васильевич желанную гостью. А когда в отчаянии порешил себя, не доведя до конца и представления о принце Гамлете, – этакий, прости ему, господи, комедиант! – тогда, не дрогнув, стояла Елизавета Алексеевна перед трупом мужа. Лучше вдовья доля, чем семейное бесчестье. Умерла единственная дочь – и снова как каменная стояла перед гробом властная старуха. Лучше ей, дочери, ангельский венец на небесах, чем мужние шашни в собственном доме. Намеревался после этого зять отобрать у нее внука, и опять не дрогнула Елизавета Алексеевна – откупилась. Навсегда уехал из Тархан молодой вдовец Юрий Петрович.

Когда прошли годы да выпестовала она внука, выходила его от всех болезней и справила ему полное офицерское снаряжение, чтобы и в гвардии был он из первых, а Мишеньку по царскому приказу сослали на Кавказ, – вот тогда дрогнула старуха. Только и тогда не растерялась. Нашла слезные слова, оказалась умелая на поклоны, не знала устали в просьбах. Все свои знатные знакомства, все родственные связи пустила в ход; до тех пор хлопотала, пока не вернули ей наконец Михайлу, именно туда, куда желала Елизавета Алексеевна, – в лейб-гвардии гусарский полк.

А что же дале будет? Во всем ласков и внимателен к ней внук, только в одном нет к нему приступа. С боязнью и с гордостью раскрывает бабушка заветный журнал, надевает тяжелые очки и перечитывает: «Тамань – самый скверный городишка из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода, да еще вдобавок меня хотели утопить».

И пугается Елизавета Алексеевна: да когда же этакое было с Мишелем? А потом вспомнит, что писаны эти строки не в письме, а в повести, сочиненной внуком. От сердца отлегло.

А все-таки непонятное творится с Михайлой. Смешно читать, что печатают о нем в журналах. Ведь писали же в «Отечественных записках» про его повести: «Это будет новый, прекрасный подарок русской литературе». Напишут же этакое, будто о Жуковском или о покойнике Карамзине. Чудно!

Отцы и дети

Глава первая

– Андрей Александрович! К вам рассыльный из типографии.

– Брысь! – грозно отвечает Краевский, не отрываясь от чтения.

Казачок скрывается, но ненадолго.

– Андрей Александрович! Барыня приказали…

Андрей Александрович молча показывает кулак. Казачок исчезает. В кабинете снова водворяется тишина, слышен только шелест бумаг.

Никто не умеет работать так, как редактор «Отечественных записок». Он один способен выпустить к сроку огромную журнальную книжку и собственноручно держит все корректуры.

Близится срок выхода мартовского номера «Отечественных записок», но странное дело – Краевский не читает никаких рукописей и, кажется, в первый раз задерживает самые срочные корректуры.

На письменном столе, знаменитом своим хитрым устройством, лежат старые книжки собственного журнала, и именно от них не может оторваться редактор. Вот и первый номер «Отечественных записок» за прошлый, 1839 год.

Чем же провинился, однако, первенец, принесший редактору всеобщее признание? Ведь именно в этом номере журнала он, Андрей Александрович Краевский, вернул русской словесности Лермонтова.

– Ох, Михаил Юрьевич, Михаил Юрьевич, не сносить тебе буйной головы! – вслух говорит Краевский.

Лучше бы и не знать Андрею Александровичу о проклятой дуэли. А то дознаются о ней власти да призовут отчаянного поручика, поднявшего руку на сына французского посла, да вспомнят прежние его дерзости – хотя бы те самые стихи на смерть Пушкина, за которые и поехал безумный поручик на Кавказ, – да поинтересуются повнимательнее его новыми писаниями:

Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее – иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно…

Так и лежал перед редактором журнал, в котором скромно приютилась знаменитая лермонтовская «Дума».

В памяти встали хлопотливые дни, предшествовавшие выходу «Отечественных записок». Как можно было обойтись без стихов Лермонтова, если поэт вернулся из кавказской ссылки и нигде еще не печатался! По старому знакомству Краевский и получил тогда «Думу», на зубок новорожденному журналу. Получил, прочитал и сразу понял, какой алмаз приобрел. Еще раз перечитал и… отложил в самый потаенный ящик стола. Печатать или не печатать?!

Выпустить первую книжку журнала со стихами Лермонтова – об этом мог только мечтать каждый редактор.

«Печатать! Печатать!» – даже во сне твердил Андрей Александрович. Но, черт возьми, вздумалось же этому забияке возобновить поэтическое поприще именно с разящей «Думы»!

Клеймит укоризной всех дрогнувших, изверившихся и малодушных. Кто не вспомнит, читая «Думу», как восстал этот самый поручик Лермонтов против убийц Пушкина!

Правда, и сам Андрей Александрович откликнулся в свое время на смерть Пушкина. Это он поместил траурное оповещение: «Солнце поэзии русской закатилось…» – и за то был зван к возмущенному начальству. «Какое такое великое поприще Пушкина имели вы в мыслях, сударь? – наступал на Андрея Александровича начальственный старец. – Что он, ваш Пушкин, полководец был или государственный муж? Нет, милостивый государь, писать стишки еще не значит, совсем даже не значит проходить великое поприще… Уразумели?»

Андрей Александрович получил тогда строгий выговор по службе. Но разные бывают выговоры. Иной принесет прямую пользу. Ни в чем, собственно, Андрей Александрович не претерпел, зато сколько приветствий получил! Сколько безвестных друзей с благодарностью произносили имя Краевского…

Когда он начинал издавать «Отечественные записки», у него уже был немалый круг почитателей.

Так печатать или не печатать «Думу»?.. Не раз редактор новорожденного журнала вынимал из потаенного ящика листки, писанные рукою поэта, но так и не мог ничего решить…

Ладно, что возвращен Лермонтов с Кавказа. А все ли ему прощено и забыто? Кто не знает, что власти, пораженные и перепуганные стечением народа у гроба Пушкина, опасались какой-то тайной партии, будто бы собиравшейся действовать по примеру тех, кто вышел на Сенатскую площадь 14 декабря памятного 1825 года. Правда, никто никуда не вышел, и партии, готовой повторить действия тех безумцев, тоже не оказалось. Но ведь общеизвестные стихи Лермонтова, хоть и не увидевшие печатного станка, восприняли на верхах именно как призыв к революции, как политическое выступление от лица именно этой тайной партии…

Все это отлично знал Андрей Александрович, ибо, что греха таить, в то время и сам он навестил Лермонтова, находившегося под арестом. Все это было.

И тем труднее оказалось решить вопрос, как поступить с «Думой» редактору, вступающему на новое и обширное поприще.

Но настал наконец день, последний день отсрочки. И Андрей Александрович решился: печатать!

Рискнул – и выиграл, да как еще выиграл! Лермонтовские стихи, пропущенные цензурой, привлекли внимание к первому номеру «Отечественных записок» больше, чем весь остальной материал. Другие журналы, чтобы хоть как-нибудь удовлетворить своих подписчиков, должны были перепечатать «Думу». Вот когда почувствовал Андрей Александрович сладость победы…

А «Дума», выученная тысячами людей наизусть, снова лежит перед редактором. Сколько с тех пор воды утекло, сколько исполнилось у Андрея Александровича смелых надежд! Обстановка редакторского кабинета красноречиво свидетельствует о преуспеянии журнала. А впереди новые тысячи подписчиков, и, конечно, комфортабельный особняк, и солидный банковский счет… Но сегодня мигом разлетаются желанные видения. Стоит неотложная работа.

Надо же было этому Лермонтову лезть со своей шпажонкой да еще с пистолетом на сына французского посла! Положим, лез не он, а француз, но ведь можно было бы и уступить… Теперь же, если начнется следствие о дуэли, жандармы наверняка почувствуют неудержимый интерес к поэзии… А ведь «Дума», проклятая «Дума», если приглядеться, полна дерзостных намеков:

Богаты мы, едва из колыбели,

Ошибками отцов и поздним их умом…

«Насчет отцов сомневаться не будут, – тревожно размышляет Краевский, – отцы у такого беспокойного человека известны: начали бунтом четырнадцатого декабря, а кончили виселицей да каторгой. С ошибками тоже все ясно. Не так, мол, оные отцы, будучи на Сенатской площади, по мнению господина Лермонтова, размахнулись? Силушки, дескать, не накопили? «Вот, скажут, куда метил автор, а редактор напечатал… Подать сюда, – мигнут кому надо, – редактора!..»

Глаза Андрея Александровича устремились к концу «Думы»:

И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом…

«Да кто ж это такой, спросят, судья и гражданин? Слава богу, в России нет граждан, а есть верноподданные. Куда же метит автор? Извольте отвечать, господин Краевский, поелику именно вы сочли возможным наполнять журнал крамольными стихами…»

Андрей Александрович потер виски. Он собирался, стоя на краю гибели, произнести последнюю защитительную речь, как вдруг сердце отстучало неровно, отрывисто.

Он бросился к письменному столу, достал какие-то капли, отобрав их из множества лекарств. Выпил и лег на диван.

Силы небесные! А если доберутся до тех строк, которые он, редактор, благодаря создателю, вовремя изъял! И повторил почти шепотом эти лермонтовские строки, адресованные благоденствующим россиянам:

Перед опасностью позорно-малодушны,
И перед властию – презренные рабы…

Сердце снова отстучало отрывисто и неровно.

– К тебе можно, друг мой? – Анна Яковлевна Краевская тихо вошла в кабинет и, увидев, что муж лежит с закрытыми глазами, скрестив руки на груди, осторожно присела к нему на диван. – Что с тобой? Дать тебе капель?

– Благодарю! Я уже принял. Благодарю тебя. – Андрей Александрович поцеловал руку жены. – Должно быть, переработался. Такова горькая участь журналиста. Везде, каждый день опасности…

– Тебе непременно нужно отдохнуть.

– Отдохнуть! – Андрей Александрович присел на диване и горько улыбнулся. – На Руси, Анечка, редакторы отдыхают разве только за решеткой…

– Что ты говоришь? Опомнись!

– К слову пришлось, милая! Ну, конечно, и нервы… – Он искоса глянул на письменный стол и глубоко вздохнул. – Работаешь, сидя в кратере вулкана…

– Какой кратер? Ничего не понимаю!

Андрей Александрович поднялся с дивана и подошел к столу.

– Вот он, мой вулкан, вот кратер, – и он протянул указательный палец к разбросанным по столу книжкам «Отечественных записок». – Есть, Анна Яковлевна, люди, которые все и вся осуждают. Выносят беспощадный приговор и еще грозят судом потомства. Они судят, а редактор отвечай…

– Так зачем же ты печатаешь?

– Вот-вот… Зачем? Боюсь, что такой же вопрос зададут мне и в ином месте… – Он сел за стол, сокрушенно вздохнув. – Ну, поди, дорогая, к себе. Прости, я неотложно занят…

Редактор с прежним мужеством продолжал просматривать все, что напечатал из Лермонтова. И недолго пришлось листать журнальные книжки. Не угодно ли, господа читатели «Отечественных записок», следующее стихотворение господина Лермонтова, под названием «Поэт»?

Андрей Александрович надел было шелковую шапочку, потом снова ее снял и, пробежав стихотворение, почти с отчаянием прочел последние строки:

Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк?
Иль никогда на голос мщенья
Из золотых ножон не вырвешь свой клинок,
Покрытый ржавчиной презренья?

Вот как выглядят стихотворения поручика лейб-гвардии гусарского, полка, если перечесть их в ретроспекции, одно за другим. Сначала он выносит беспощадный приговор, а потом с неумолимой последовательностью взывает к кинжальному клинку – уж не для исполнения ли приговора?.. Но опять ведь перепечатали «Поэта» в других журналах, к вящему прославлению «Отечественных записок».

И твердо знает редактор: если бы начинать сначала, никому бы не уступил он ни единой лермонтовской строчки. По счастью, и негде больше Лермонтову печататься. Нет в Петербурге пристойного журнала, кроме «Отечественных записок».

Андрей Александрович прочел еще одну, такую безобидную по названию пьесу – «Не верь себе». Автор рисовал наглядную картину нравов подданных императора Николая Павловича!

…из них едва ли есть один,
Тяжелой пыткой не измятый,
До преждевременных добравшийся морщин
Без преступленья иль утраты!..

С отрадой остановился взор редактора на «Трех пальмах». Этакая волшебная красота и упоительная музыка! Но вряд ли будут долго блуждать жандармы вокруг трех пальм. Есть же у них нюх! И нет никакого утешения Андрею Александровичу! Сам виноват. Сам все напечатал.

Куда бы проще печатать в «Отечественных записках» поэмы многоуважаемого Василия Андреевича Жуковского. Беда только в том, что пленительные стихи его не умножают числа подписчиков. И Виссарион Белинский пишет в статьях: «Ныне читатели требуют не мнений, а мысли». Вопрос, однако: какой мысли требуют читатели? Разве у Жуковского нет мысли? Конечно, есть! Но мысль Василия Андреевича направлена преимущественно в туманный, надзвездный мир, а читатели требуют мысли о здешней грешной жизни. И учат наизусть пьесы Лермонтова. Со времени Рылеева еще не было таких взрывчатых стихов. Рылеев… Страшно и вспомнить Андрею Александровичу о том, что началось на Руси после расправы с Рылеевым и его товарищами; страшно произнести вслух эти имена. А неугомонный поручик Лермонтов пишет стихи с посвящением «Памяти А. И. О-го». И он, Краевский, опять их печатает… Неужто же такие олухи жандармы, чтобы не допытаться при надобности, кто скрыт от бдительного ока под интригующими буквами? Легко дознаться, что скрыт под этими буквами один из товарищей Рылеева, ныне умерший государственный преступник Александр Иванович Одоевский.

Неустрашимый лейб-гусар так и начинает свои стихи с признания:

Я знал его: мы странствовали с ним
В горах востока, и тоску изгнанья
Делили дружно…

И заканчивает прямым сочувствием делу мятежников:

Он сохранил и блеск лазурных глаз,
И звонкий детский смех, и речь живую,
И веру гордую в людей и жизнь иную…

Андрей Александрович Краевский листал «Отечественные записки», то дивясь, как пропустила все лермонтовские пьесы цензура, то стараясь понять, как сам он все это напечатал… А между тем дошел до стихотворения, обозначенного датой: «1 января». Именно в этой пьесе, вспоминая недавний новогодний маскарад, Лермонтов писал:

О, как мне хочется смутить веселость их
И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!..

На маскараде, оказывается, этот дуэлянт уже успел попотчевать если не стихом, то прозой дочерей самого императора!

– Н-да! – крякнул Андрей Александрович. – Теперь надобно спасать «Отечественные записки» и себя…

Он откинулся на спинку кресла, но вместо хитроумных спасительных планов перед ним как живой встал Лермонтов. Большеголовый, коренастый… и глаза… Черт его знает, какие глаза! Никогда не смеются. А проникают прямо в душу. Недаром говорят, что многие совсем не выносят его взгляда.

– И везде-то от него беспорядок, – вдруг рассердился Андрей Александрович, – даже на письменном столе и то норовит устроить анархию!

Глава вторая

Для встречи посетителей у редактора «Отечественных записок» выработан строгий ритуал. При входе Белинского Андрей Александрович не пошел к нему навстречу, а лишь привстал с кресла.

– Давно жду вас, всепочтеннейший Виссарион Григорьевич. Хоть никого сегодня не принимаю, однако для вас запрета нет. Как драгоценное ваше здоровье?

– Похвалиться не могу, – отвечал Белинский, – но я к этому уже привык. – Говорил он с той хрипотой в голосе, которая свидетельствовала о тяжелом недуге.

– Ай-ай! – сокрушенно качает головой Краевский. – Опять кашляете! К весне нужно особо вам беречься. Наша петербургская весна…

– Писали вы ко мне, – перебил Белинский, – что имеете срочное дело.

– Пресрочное, достоуважаемый Виссарион Григорьевич. Статьи вашей терпеливо жду и могу ждать еще дней пяток, а вот это дело ни минуты не терпит. – Краевский взял со стола листок бумаги. – Составил я список книг для библиографических известий, извольте взглянуть.

Белинский стал читать. Чего только не было в списке! «Разговоры Эмилии о нравственных предметах», «Секретарь в сундуке», роман «Женщина XIX столетия», «Гадательный

альбом», «Библиотека коммерческих знаний», «Месяцеслов», «Устав Тульского общества конских ристалищ»… Не дочитав до конца, Белинский положил листок на стол.

– Помилуйте, Андрей Александрович, что я понимаю в коммерции или в конских ристалищах?

– Знаю, знаю! – успокоил Краевский. – Да ведь вы, батенька, о чем бы ни писали, хоть бы и о гадательном альбоме, умеете столько полезного сказать читателю, так умеете высмеять невежество или спекуляцию…

– А зачем, собственно, писать в «Отечественных записках» о всякой чепухе? – возразил Белинский. – Вот тут у вас в списке и такой перл значится: «Рококо из трехсот тридцати трех повестей, отрывков и рассказов», перевод с французского». При чем тут я?

– Не согласен, никак не согласен! Безусловное внимание «Отечественных записок» ко всем изданиям, выходящим в свет, свидетельствует о нашем исключительном уважении к печатному слову. Это, Виссарион Григорьевич, большая новость на Руси и создает репутацию журналу. Не вы ли первый о нем печетесь? К тому же перед вами обширное поле битвы. Искореняйте пошлость, выводите на чистую воду торгашей от литературы. Кто, как не вы, поможет читателю разобраться! Кстати сказать, – и это тоже впервые в нашем отечестве, – ваши библиографические известия читают, как роман. Вот благородное поприще для просветителя!

– Но и просветитель имеет всего двадцать четыре часа в сутки для работы, – отвечал, нахмурившись, Белинский. – И просветитель, если он пишет, должен хорошо знать о предмете или хотя бы собрать обстоятельные справки.

– Само собою разумеется! – с живостью согласился Краевский. – Знаю, что иначе вы и строки не дадите. Да что же мне-то делать, голубчик? Типография требует набора. Простои, расходы, долги… – Он умоляюще поглядел на Белинского. – На вас вся надежда. А если уж какой-нибудь «Месяцеслов» вас затруднит, то я никак не принуждаю, в крайнем случае отложите в сторону. Что делать! Сам знаю, что болеете за журнал больше моего. Выручайте же, почтеннейший Виссарион Григорьевич, а книги вам из конторы доставят.

И Белинский положил список в карман сюртука. Так бывало всегда, потому что Андрей Александрович говорил о журнале, о его судьбе, о тысячах читателей, жаждущих слова правды, и, наконец, о вечных денежных своих затруднениях.

– Кредиторы задушили, Виссарион Григорьевич! – опять начал Краевский. – Если под вексель не займу, грозят прекратить отпуск бумаги. Всем кругом должен, вот и вам тоже, очень хорошо помню… Потерпите, всепочтеннейший!

– Обо мне, Андрей Александрович, не беспокойтесь, как-нибудь протяну.

– Знаю ваше истинное великодушие…

На том и кончился денежный разговор. Андрей Александрович, как всегда, опередил. Белинский так и не решился просить заработанные деньги, хотя жил только мелкими подачками Краевского. Прошло уже полгода, как он переехал в Петербург для работы в «Отечественных записках», но все еще не мог уплатить даже старый долг квартирной хозяйке, которая так долго и терпеливо ждала в Москве обещанной уплаты.

Виссарион Григорьевич проклинал свою робость и застенчивость, но снова отложил свою просьбу до лучших времен.

– Что вы думаете о Лермонтове? – вдруг спросил Краевский.

– В каком смысле? Как человека я его мало знаю. О поэтическом его таланте нет нужды распространяться. Думаю, что Пушкин умер не без наследника… Что это вам вздумалось спросить?

– Перечитываю его пьесы, напечатанные в «Отечественных записках», и размышляю. Вот, к примеру, «Бэла». Вы, помнится, еще в Москве о ней писали.

– Писал и опять повторю: так и надо писать правду о Кавказе, о горцах, о нашем к ним отношении. Повесть Лермонтова отучит наше общество от романтической трескотни дурного вкуса и от злобной клеветы на горцев, чем занимаются многие наши невежественные путешественники.

– Да… – нерешительно согласился Краевский. – А если нам скажут, что, печатая повести, в которых, как вы изволили выразиться, правдиво раскрыты быт, обычаи и характеры горцев, мы перечим нашему мудрому правительству, вся мудрость которого направлена, впрочем, на порабощение и истребление этих «диких» народов, – что мы тогда ответим?

– Но неужели господин Лермонтов не имеет права объявить в своих повестях, что горцы и их самобытность достойны уважения, что они имеют право на человеческое достоинство и, наконец, на просвещение? Да ведь и сами вы, Андрей Александрович, печатая «Бэлу», несомненно, оценили все достоинства этой повести.

– Увы! Никто, как я, не умеет ценить его талант…

– И за это вам всегда будут благодарны читатели «Отечественных записок». Но вижу, что за вашими словами кроется какая-то непонятная мне тревога.

– Еще бы! – Краевский чуть было не рассказал о дуэли, но вовремя спохватился.

Чтобы оправдать свое беспокойство, он поведал гостю об одном недавнем происшествии. Французский посол Барант вдруг заинтересовался – и это через три года! – известными стихами Лермонтова на смерть Пушкина и через общих знакомых просил Лермонтова разъяснить, имел ли он в тех стихах в виду только убийцу Пушкина Дантеса или хотел оскорбить всю французскую нацию. Лермонтов направил послу копию своих стихов, которые давали исчерпывающий ответ на нелепый вопрос. Но посол, очевидно, еще раньше навел справки и заявил, что дело исчерпано. Лермонтов получил после этого приглашение на бал в посольстве.

– Приглашение-то он получил, – заключил Краевский, – но интрига, заплетенная вокруг него, может начаться с новой силой. Понимаете теперь, почему я тревожусь?

– А как же по-вашему, Андрей Александрович? Или иноземцам, хотя бы и в высоком ранге посла, тоже дано право цензуры над нашей несчастной словесностью? Или мы, судя о наших делах, должны оглядываться на все посольские особняки? Не думаю, чтобы был охоч до таких оглядок господин Лермонтов… Что нового предназначает он для «Отечественных записок»?

– А черт его знает! – с раздражением вырвалось у Краевского. – Засел в Царском Селе…

– О! – перебил Белинский. – Если бы это могло послужить к пользе словесности…

– Если бы! – с сарказмом повторил Краевский. – Впрочем, наверное, с головой окунулся в забулдыжную офицерскую жизнь. Кстати, Виссарион Григорьевич, вы, помнится, печатно называли некоторые стихи Лермонтова прекраснодушными. Как это понять?

– Я писал это применительно к «Думе» и «Поэту», хотя со многими разошелся.

– Да какое же тут прекраснодушие? – продолжал допрашивать Краевский. – Можно сказать, он в этих стихах все крушит, все отрицает.

– Вот именно, – подтвердил Белинский, – господин Лермонтов не только осуждает наши исторические условия, но, осуждая их, подсказывает разрушительные выводы. Вот это я и назвал прекраснодушием. Разумеется, в философском смысле слова.

– Не совсем вас понимаю. Прошу объяснить.

– Извольте. Всякая попытка суда над современностью, над закономерно существующими условиями жизни обречена на неудачу. Эти наивные попытки становятся свидетельством прекраснодушия тех, кто проповедует поход против исторически сложившихся условий жизни.

– А эти условия, по вашему философскому суждению, нерушимы? – спросил Краевский.

– Во всяком случае, они никак не зависят от беспочвенных мечтаний отрицателей.

– Вот с этим вовсе не буду спорить!

Однако хмурый взгляд Белинского свидетельствовал о том, что он совсем не рад такому единомыслию.

– Не думайте, Андрей Александрович, – продолжал Белинский, – что я, признавая нашу российскую действительность как необходимо сущее, меньше ненавижу ее, чем все отрицатели. Я болен ею! Тяжко болен и задыхаюсь! – Белинский закашлялся и кашлял долго, надрывно, но едва он перевел дух, голос его стал звонким, речь снова полилась свободно. – Кто же не знает, как живет, вернее страждет, закрепощенный народ? Знаю! Кто не знает продажности, невежества, подлости и тупости нашей власти, от высших до низших ее агентов? Знаю! Кто не видит, как обирают работных людей? Вижу! Кто не знает, что делается в столичных застенках и на каторге? Знаю! Может быть, больше, чем кто-нибудь, знаю! Хлебопашцы наши, изнуренные голодом, требуют хлеба. А правительство, охраняя помещичьи амбары, шлет на крестьян войско и, проливая невинную кровь, сулит вместо хлеба какой-то Секретный комитет! Ан весь-то секрет кончится тем, что измыслят новую барщину.

«Ничего себе «примиритель», – думал Краевский.

– Тише, ради бога, тише! – взмолился он.

– Знаю! Вижу! – продолжал Виссарион Григорьевич. – Но разум говорит мне, что не во власти людей нарушить ход истории по чьей-нибудь воле… – И он опять закашлялся.

– Успокойтесь, Виссарион Григорьевич! – заговорил Краевский. – Прошу вас, успокойтесь. Эк вас, батенька, прорвало! – Он открыл ящик письменного стола. – Могу предложить спасительное средство от кашля.

– Не поможет, Андрей Александрович.

– А к лекарям вы обращались?

– Непременно собираюсь…

– Богом вас заклинаю, – лечитесь!

– Как-нибудь соберусь. – Белинский улыбнулся. – Хотел бы я знать, однако, какой чудотворец знает спасительные для нас, русских, лекарства…

– А философия-то? – оживился Краевский. – Вот она, чудотворная программа жизни. Именно ее нам и недоставало. И теперь, когда философическая система Гегеля… Да, чуть было не забыл: кланялся вам Михаил Юрьевич Лермонтов и объявил о своем намерении вступить с вами в философский спор: «Многое, говорит, хотел бы возразить господину Белинскому».

– Счастлив иметь такого противника. К сожалению, не надеюсь на серьезный разговор. Не раз пытался, но куда там! Или отшутится, или на все пуговицы застегнется…

Когда Белинский ушел, Краевский долго оставался в бездействии и неодобрительно покачивал головой.

А Виссарион Григорьевич натянул вытертую донельзя енотовую шубейку, тщательно повязал горло вязаным шарфом и отправился домой. Собственно, и дома у него сейчас не было, приютился кое-как у знакомого человека.

Путь от Измайловского моста до Моховой улицы, где квартировал Белинский, был не близкий. Он хотел было кликнуть извозчика, но тут же вспомнил малодушие, проявленное в денежном разговоре с Краевским. Случалось часто – не было денег, чтобы отправить письмо. Извозчик был недоступной роскошью.

Он брел по многолюдным улицам, сторонясь прохожих. Все еще не мог привыкнуть к столичной шумихе и толкотне. И вообще с большим трудом осваивался в Петербурге.

Вскоре после приезда в столицу он писал друзьям в Москву: «Чем больше живу и думаю, тем больше, кровнее люблю Русь… но ее действительность настоящая начинает приводить меня в отчаяние – грязно, мерзко, возмутительно, нечеловечески…» Прошло

всего несколько месяцев, и в очередном письме появилось новое признание: «В душе моей сухость, досада, злость, желчь, апатия, бешенство…»

И эти чувства рождались от той же кровной любви к России.

Глава третья

Сани Лермонтова остановились у дома княгини Марии Алексеевны Щербатовой. Швейцар почтительно распахнул перед гостем дверь.

– Княгиня принимает?

– Пожалуйте в гостиную.

Знакомая голубая гостиная. Ее голубой фон так идет к золотистым кудрям хозяйки. Впрочем, она никогда не кокетничает и ничего не делает с холодным расчетом. Юная украинская дева быстро превратилась в петербургскую княгиню. И еще быстрее стала вдовой. Одни считают ее красавицей, другие утверждают, что она совсем нехороша. Последнее говорят люди, которые не знают другой красоты, кроме той, которая удостоверена мнением всего света. Они не знают силы того обаяния, которое превращает женщину в красавицу.

Мнения о Машеньке Щербатовой вообще расходились. Одни считали ее умной, другие – глупышкой. Столь резкое расхождение происходило, очевидно, потому, что каждый по-своему оценивал удивительное простосердечие, которое так редко встречается в княжеских гостиных.

Михаил Юрьевич сидел в голубой гостиной и ждал. Прошло больше десяти минут. Хозяйка медлила. Гость встал и, расхаживая по гостиной, так ушел в свои думы, что Мария Алексеевна, неслышно появившись, должна была его окликнуть.

– Я знала, что вы придете.

– Я получил вашу записку.

– А если бы я не писала к вам?

– Мои визиты после печальной дуэли могут только компрометировать вас в глазах света, – Лермонтов говорил сдержанно, почти сурово.

– О, светские цепи не для меня! – Княгиня подняла на гостя глаза, синие, как небо Украины. – Я боюсь другого, Михаил Юрьевич.

– Ручаюсь, что господин де Барант не посмеет больше вас тревожить.

– Какой вы плохой отгадчик! А я не гожусь в дипломатки. – Княгиня помедлила, смущаясь. – Я боюсь, Мишель, – сказала она тихо, – что вы дурно думаете обо мне.

– Прошу вас, не мучьте себя. – Он коснулся ее руки.

– Не могу… Хотя и понимаю, что для меня нет надежды. – Она печально поникла головой.

Гость молчал. Он решительно не знал, как утешить ее печаль, и проклинал свое молчание.

– Вы помните, – сказала Щербатова, – когда-то я давала вам совет: если настанет трудная минута, молитесь!

– Я помню все, Мари! Хотя по-прежнему не умею тревожить всевышнего моими докуками.

– И вот теперь, – продолжала хозяйка дома, – я молюсь и повторяю ваши строки:

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко…

Мне и верится и плачется, – повторила она. – Только…

– Что «только», Мари?

– Сомнение, Мишель, никуда не уходит. Тогда я отдаюсь этому жестокому сомнению и думаю. Когда вы так решительно встали на пути Эрнеста де Баранта и, словно угадав мою мольбу, берегли меня от его назойливости, скажите, что руководило вами? Я никогда не повторю этого вопроса, я приму любой ответ. Если хотите, я сейчас же его забуду, только ответьте мне, какое чувство побуждало вас?

– Если есть вопросы, Мари, которые трудно задавать, то ответить на них бывает еще труднее. Мы часто знаем о себе меньше, чем о других, и легко принимаем правду за ложь.

– Ложь? – переспросила она. Глаза ее потемнели, голос дрогнул.

– Нет, нет, вы не поняли меня, Мари! Клянусь, я никогда вам не лгал. Но тем хуже для меня, если я причинил вам горе.

– Теперь вы не поняли меня, – твердо сказала Мария Алексеевна. – Вы ни в чем передо мной не виноваты. Никто не властен над чувством, никто не виноват в том, что пробудит это чувство в другом. Я хотела сказать и не раскаиваюсь в своих словах: никто не виноват, если пробудит, не желая того, чувство женщины… Теперь мы объяснились, Мишель. Впрочем, не нужно притворства, вы давно разгадали мою тайну. Не так ли?

Надо было отвечать, но он не мог обидеть ее сердечную доверчивость. Бережная нежность всегда пробуждалась в нем, когда он говорил с этой женщиной.

– Мари, – сказал поэт, – вы не открыли мне тайны. Но я не хочу ничего от вас скрывать. Увы, мне нечем отплатить вам.

Снова настало молчание. Машенька Щербатова прощалась с теми надеждами, которыми жило ее сердце.

– Останемся же друзьями, Мишель! – твердо сказала она и, не сдержав порыва, протянула ему руки и не отняла, когда он почтительно их поцеловал.

Он был благодарен ей за эту мужественную простоту, за то, что она не плакала.

Нет, Мари не плакала. Она не уронила ни слезинки и с непринужденностью, которая бог знает чего стоила ей, спросила:

– Надеюсь, история вашей дуэли погребена навеки?

– Как знать? – отвечал поэт, глядя на нее с затаенной печалью. Открыв ей правду, отрезающую все пути к ее сердцу, он вдруг почувствовал горечь утраты. – Но повторяю вам, надо взять все меры осторожности. Заклинаю вас, уезжайте из Петербурга!

– Зачем?

– Если история откроется, могут впутать ваше имя.

– Я этого не боюсь.

– Меня уже не раз предостерегали, Мари, что госпожа Бахерахт болтает о дуэли и виновницей ее называет именно вас.

– Бог ей судья.

– Бог! – повторил поэт. – Ваша детская вера не остановит хулы. Где вы живете, Мари? В Аркадии или в нашем беспощадном свете?

– Я сумею перенести и насмешки и зло. Для этого у меня хватит гордости, Мишель.

– Так вот вы какая! – воскликнул он, любуясь ею. – Вот какая вы, Мари!

– А вы не знали? Полноте! Не на балах, а в несчастье можно узнать женщину. Разве не так, друг мой?

Она подавила глубокий вздох: ей первый раз пришлось так назвать его.

– И вы никуда не уедете? – спросил поэт. – А если против вас поднимется весь свет, если господин де Барант первый будет на вас клеветать?

– И если даже госпожа Бахерахт начнет против меня свои интриги, – спокойно сказала Щербатова. – А ведь вы, наверное, знаете, что женщины гораздо опаснее в этом случае, чем мужчины.

– Но если я, Мари, буду умолять вас уехать?

– Зачем?

– Чтобы избавить вас от грязи и сплетен. Сжальтесь надо мной, ведь иначе я не смогу уберечь вас, Мари!

– Только в этом случае, Мишель! Мне так хочется ощущать вашу заботу, что я готова платить за нее горькой ценой. – Она немного подумала. – Извольте, я уеду в Москву. Отличный предлог – свидание с родными. А теперь – только не смейтесь над женской слабостью! – еще один вопрос. Теперь, когда мы стали с вами друзьями, – она чуть-чуть вздохнула и сейчас же улыбнулась, – теперь скажите мне, за что преследует вас госпожа Бахерахт?

– Только за то, Мари, что я никогда не имел желания беречь ее так, как вас.

– Вот теперь, Мишель, действительно последний вопрос: до моего отъезда мы еще увидимся?

– Непременно.

– Ну вот и все. Только бойтесь госпожи Бахерахт, она, право, ужасная женщина. Вы можете мне поверить, поскольку у меня нет ни права, ни основания ревновать…

Когда гость покинул голубую гостиную, когда плотно закрылись за ним двери и не стало слышно звона шпор, Мари вдруг склонилась в кресле, опустила голову на руки и, громко, по-детски всхлипывая, разрыдалась. Она рыдала долго, словно хотела вместе с этими слезами освободиться от своей безрадостной любви.

А Михаил Юрьевич, вернувшись на Сергиевскую улицу, даже не зашел к бабушке и заперся у себя. Елизавета Алексеевна хорошо знала повадки внука.

– Опять сочиняешь? – с тревогой спросила она, подойдя к двери.

Ответа не последовало, и это обстоятельство окончательно убедило бабушку.

Михаил Юрьевич то ходил по комнате, то садился за стол. Он был грустен, но в глазах его светилась нежность. Теперь, когда поэт купил дорогое право на свободу, он был полон сожаления: Машенька никогда не узнает, чего стоил ему этот отказ.

Лермонтов писал на отдельных листках, рвал их, начинал снова. Нетрудно было понять, кому было посвящено рождавшееся стихотворение.

На светские цепи,
На блеск утомительный бала
Цветущие степи
Украйны она променяла…

Он работал долго, пока не отлились последние строки.

Когда Михаил Юрьевич вышел из своей комнаты, Елизавета Алексеевна хлопотала у стола.

– Ни за что не отпущу голодного, – говорила она, угощая его холодным ужином.

– А с вами-то, бабушка, опять так мало виделись.

– Это уж тебе знать. Знаю я, с кем ты романы сочиняешь. Небось к Щербатовой ездил?

– Ах, бабушка, если б выйти мне в отставку, пожили бы мы с вами на славу и никогда не разлучались. Не помешали бы нам никакие романы.

– Молчи, молчи! Выдумал тоже, в отставку! Не хочу о том и слышать!

Так всегда кончались эти разговоры. Впрочем, сейчас об отставке нечего было и думать, надо было выждать время, чтобы по крайней мере затихли толки о дуэли.

Лермонтов ускакал в Царское.

Окраины Петербурга давно утонули в снежном тумане. Февральская вьюга застилает небо и землю мокрой, колючей пеленой. Ничего не видно впереди. Только храпят горячие, застоявшиеся кони, летя в кромешную тьму…

Под такую езду думается неведомо о чем. Кажется, опять привиделась сквозь метель голубая гостиная. Нелегка ты, правда сердца, если ранишь другое… А может быть, мелькнул другой призрак: женщина в греческой прическе, с таким неуловимо изменчивым лицом. Мелькнул этот вечно манящий, желанный призрак и тоже исчез… Вихрем вихрится метель, да несут кони, – а куда? Где ему, Михаилу Юрьевичу, дорога? Закутался в шинель – не согреться. И вьюга поет неведомо о чем. Нет, не заснуть под эту тревожную, унылую песню. Когда путник раскрыл глаза, перед ним пробежал, раскачиваясь, какой-то фонарь и сгинул. Пригляделся, а фонари пошли уже один за другим, потом встали цепочкой.

Вот и постылое Царское Село. Нет другой дороги поручику лейб-гвардии гусарского полка.

Едва вошел он на свою бивуачную квартиру, заспанный денщик подал пакет от полкового командира. Михаил Юрьевич вскрыл конверт. Поручику Лермонтову предлагалось дать срочное объяснение по поводу дуэли, которую он имел с бароном де Барантом.

Глава четвертая

Граф Владимир Александрович Соллогуб считал себя человеком большого света, прикомандированным к изящной словесности. Он только изредка бывал у Краевского, чураясь излишне коротких литературных знакомств.

Но если заезжал граф Соллогуб, Андрей Александрович принимал его с изысканной любезностью. Объяснялось это не столько славой автора нашумевшей повести «История двух калош», сколько большими связями Соллогуба в дворцовых сферах. Сейчас приезд графа был как нельзя больше на руку. Именно в нем видел Андрей Александрович спасение для «Отечественных записок» и для себя.

Гость рассказывал, слегка растягивая слова, об интимных вечерах в Зимнем дворце, участником которых он имел честь быть. Краевский почтительно слушал.

– А как моя повесть? – спросил между прочим граф. – Корректуру получили?

– Еще вчера! У меня и типографщики не имеют права опаздывать. Прошу взглянуть, – и хозяин протянул гостю корректурные листы.

– Ну, держать корректуру я, разумеется, не буду, – сказал, отстраняясь, Соллогуб. – Целиком полагаюсь на вас, многоуважаемый Андрей Александрович.

– Талантливо написано, граф, – начал Краевский, поглаживая рукой по корректуре. – Этакая яркая картина! Смелая и верная кисть! А название – «Большой свет, повесть в двух танцах» – сразу заинтригует читателя. Удивительно свежо и оригинально! Что бы вы ни говорили, Владимир Александрович, а все-таки словесность наша по праву отвоюет вас от большого света.

– Э, нет! – отвечал польщенный граф. – Надеюсь сохранить добрые отношения и со светом, и со словесностью. Не хочу быть рабом пера.

– Воля ваша, – согласился Краевский. – Однако же словесность всегда будет признательна вам…

– Как вы находите тип Леонина в моей повести?

– Портрет, истинный портрет! – сказал Краевский с особым оживлением.

– Вы опять мне льстите, Андрей Александрович. Но думаю, что каждый вращающийся в обществе непременно узнает в моем герое Лермонтова.

Краевский выслушал гостя и после некоторой паузы решительно спросил:

– Объясните мне, Владимир Александрович, почему именно этой повестью так заинтересовались высочайшие особы?

– Могу только повторить вам, что писал эту повесть по личному пожеланию ее высочества, великой княгини Марии Николаевны.

– Знаю, – перебил Краевский, – а в толк никак не возьму. Ни в каких сферах, сколько мне известно, Лермонтов не бывает.

– Но о нем много говорят если не в высших сферах, то в избранном обществе: Лермонтов дерзко себя аттестует.

– А! Вот оно что! – с сокрушением покачал головой Краевский. – Стало быть, благоугодно дать ему намек или, так сказать, предостережение?

– Это стало совершенно необходимо после того, как вы, Андрей Александрович, изволили напечатать в «Отечественных записках» его стихотворение «Как часто, пестрою толпою окружен…».

– Грех попутал! – Краевский горестно вздохнул. – Черт знал его, Лермонтова, кому он вздумал отвечать своими стихами, да еще после дерзости на новогоднем маскараде!

– И как отвечать! – возмутился Соллогуб. – Он положительно плохо воспитан.

– Согласен с вами, безусловно согласен, – поддакивал Краевский.

– И должен получить заслуженный урок, – заключил Соллогуб. – Чаша терпения переполнилась, как вы, конечно, поймете.

– Совершенно понял.

– А потому всякая отсрочка с выходом моей повести была бы очень нежелательна.

– Еще бы! Ни о какой отсрочке не может быть и речи.

– Напомню вам, что когда я читал мою повесть в Зимнем дворце, в тесном кругу августейшего семейства, ее вполне одобрили.

– Нелицеприятная дань вашему таланту, граф!

– Э, полноте! Пишу от безделья… А впрочем, иногда действительно выходит. «Большой свет», кажется, и впрямь удался. Так по крайней мере думают в августейшем семействе, где родилась и самая идея повести.

– Очень любопытно бы знать подробности, – продолжал осторожно расспрашивать Краевский.

– За Лермонтовым по пятам следует слава стихотворца, – объяснил Соллогуб. – Великая княгиня Мария Николаевна тоже заметила его. Но он или не понял этого или не хотел понять. Тогда ее высочество решила затеять литературную игру. На новогоднем бале великая княгиня Мария Николаевна, под видом маскарадной интриги, хотела осведомить господина Лермонтова о том, что ему следует ждать литературного нападения.

– Так, так, начинаю понимать! Умиляюсь изяществу шутки ее высочества…

– Не правда ли? – Соллогуб помолчал. – И все могло бы быть очень мило. Но этот дикарь Лермонтов, ворвавшись в петербургские гостиные после своих кавказских похождений, был груб и дерзок. Великая княгиня была вынуждена обратиться с жалобой к августейшей родительнице и к супругу, герцогу Лейхтенбергскому… Пусть же прочтет теперь господин Лермонтов повесть «Большой свет». Я горжусь, как благородный человек, которому оказано высокое доверие и дано право проучить зарвавшегося грубияна.

– Покорно вас благодарю! – Краевский поклонился. – Благодарю именно за то, что вы оказали честь своей повестью «Отечественным запискам».

– Не печататься же мне у Булгарина или Греча!.. Кстати, я слыхал, что Лермонтов выпускает повести свои, превратив их в роман?

– Не причастен к этому делу, Владимир Александрович! – поспешил откреститься Краевский.

– Думаю, однако, – продолжал Соллогуб, – что в повести моей сыщется более достойный, чем у Лермонтова, герой нашего времени…

– Изволите говорить, конечно, о том истинном представителе нашей благородной аристократии, против которого ополчается в повести забияка Лермонтов, то есть, виноват, Леонин?

Соллогуб посмотрел на часы.

– Заговорился я с вами, Андрей Александрович… Да, чуть не забыл. Ходят слухи, что Лермонтов успел за это время иметь дуэль.

– Дуэль? Да может ли это быть? – удивился Краевский. – Ничего, Владимир Александрович, не слыхал, решительно ничего!

– Ну, в таком случае не буду распространяться. Мне сообщили доверительно… Но если это так, то я оказался провидцем: в повести у меня Леонин тоже лезет на дуэль.

Краевский проводил гостя до передней.

Все, что рассказывал Соллогуб, Андрей Александрович давно знал. Новостью были только распространившиеся в городе слухи о дуэли… И, стало быть, нужно было спасать себя и журнал немедленно.

Для этого и нужно было поместить танцевально-пасквильную повесть Соллогуба. Но редактор не хотел потерять и Лермонтова. Ничто так не привлекает читателей к журналу, как имя поэта.

Андрей Александрович перечитывал «Большой свет», взвешивая каждое слово. Граф Соллогуб не боится прозрачных намеков. Леонина, конечно, зовут в повести Мишелем. Есть в повести и бабушка, которая приезжает в Петербург к Леонину, правда, не из Пензы и не из Тархан, а из орловских деревень; есть в повести и любовь Леонина к белокурой красавице графине. Леонина сажают под арест за то, что он не является на полковое учение. Словом, все соткано из намеков и полунамеков. А светский приятель Леонина дает ему исчерпывающую и убийственную характеристику: «Не имев состояния, ни родства, ни связей, Леонин бросился в большой свет, втерся во все передние, кланялся всем нашим толстым барыням, начал пренебрегать службой, наделал целую пропасть долгов, жил в вечной лихорадке…»

Но вот перед читателем является и сам Леонин. Происходит разговор его со светской красавицей.

«– Вы себя обманываете, – говорит красавице Леонин. – В жизни много хорошего, много отрад… живопись и музыка, творения гениев, примеры веков… В жизни много хорошего… Правда, я молод еще, но на земле я видел много утешительного. Во-первых, женщины, – что лучше женщины?..»

И это мысли и язык Лермонтова?! Сколько раз ни перечитывал редактор «Отечественных записок» этот монолог, всегда стыдливо опускал глаза. Усердный граф Соллогуб писал как умел.

А далее следовала в повести и такая сцена: Лермонтов – Леонин беседует со своим приятелем:

«– Как бы мне перейти в гвардию? – спрашивает Леонин.

«– А что?

«– Да так. Меня, может быть, пригласят на бал во дворец.

«– Может быть, – небрежно бросает светский приятель.

«– Скажи, пожалуйста, – не унимается Леонин, – ты видел, как я танцую мазурку?

«– Не помню, право.

«– А что ты думаешь, можно мне будет пуститься в мазурку?» – заключает разговор Леонин – Лермонтов.

Андрей Александрович поморщился и отложил корректуру. Если бы не обстоятельства, с удовольствием умыл бы он руки. Но надо же учесть положение редактора, да еще

либерального журнала. Чего не сделаешь во имя либеральных идей! Редактор думал больше об «Отечественных записках», чем о себе. А еще он думал о подписчиках, которых заметно прибывало.

Андрей Александрович решительно придвинул корректуру. Перед ним были страницы «Большого света», на которые в свое время он не обратил особого внимания. Леонин, без причины, глупо и дерзко вызывает на дуэль своего светского приятеля. Эти строки приобретали после дуэли Лермонтова вполне определенный смысл. Редактор «Отечественных записок» почувствовал нечто вроде укора совести: повесть, если в ее герое разгадают Лермонтова, может обернуться прямым доносом.

– Ох, эта дуэль! – вздохнул Андрей Александрович.

Мысли его снова устремились к стихам поручика Лермонтова. Ну, был такой грех, действительно печатал он, по недомыслию, дерзкие, а может быть, даже преступные пьесы этого буяна. Повинную голову и меч не сечет, особенно если редактор обнаружил не только раскаяние, но проявил твердую волю в искуплении вины.

Если понадобится, редакция «Отечественных записок» предоставит кому следует книжку журнала с повестью «Большой свет». Разве «Отечественные записки», пользуясь изящным пером графа Соллогуба, не сказали своим читателям, – правда, под псевдонимом, – что Лермонтов дуэлянт, бретер? Разве не сказано в повести, что он, Лермонтов – Леонин, «человек слишком ничтожный»?

Но тут редактору «Отечественных записок» приходит в голову новое соображение. Откуда же узнают читатели, что повесть писана про Лермонтова? Ведь и в самом деле, может быть, найдутся такие простаки, далекие от закулисных литературных дел, которые не поймут прозрачной аллегории. Но обязанность издателя журнала в том и состоит, чтобы позаботиться о распространении слухов, полезных для репутации «Отечественных записок». Конечно, не поскупится на комментарии сочинитель повести. А еще кто? Андрей Александрович на минуту задумался.

Да на что же существует Иван Иванович Панаев! Он один может наполнить слухами весь Петербург!

И еще раз нечто подобное укору совести ощутил Андрей Александрович. Ох, стыдно печатать великосветский пасквиль… Но он уже потянулся к колокольчику и позвонил.

– Немедля отнесешь в типографию, – сказал редактор «Отечественных записок», передавая казачку аккуратно выверенные корректурные листы «Большого света».

У него будет теперь козырь для любой игры. А забубённую головушку Лермонтова не даст в обиду сам сатана.

Но не угадал многоопытный редактор «Отечественных записок». В тот же самый день Лермонтов, сидя на своей бивуачной квартире в Царском Селе, сочинял донесение полковому командиру:

«Ваше превосходительство, милостивый государь! Получив от вашего превосходительства приказание объяснить вам обстоятельства поединка моего с господином Барантом, честь имею донести…»

На этом и кончился первый разбег пера. Откуда получил командир полка сообщение о дуэли? Пришло ли это известие непосредственно к нему или передано из Петербурга? Увы! Ответ на этот вопрос, кажется, ясен, но неутешителен. Если бы в историю не вмешались высокие сферы, командир полка, генерал Плаутин, ни за что не начал бы официального следствия без предварительного разговора.

Итак, дело плохо. Кутерьма завязалась где-то на верхах. Стало быть, и слухи о болтовне Бахерахтши наиболее вероятны. Эта экзальтированная и ветреная дама, имеющая некоторое отношение к литературе, считает долгом влюбляться во всех, пишущих стихи. А влюбившись, закусывает удила. Должно быть, он, Лермонтов, был с ней недостаточно осторожен.

Да, именно Бахерахтша, эта темная особа, принадлежащая к дипломатическому миру и знающая толк в интригах, теперь мстит. Однако откуда могла она узнать о дуэли?

– Трубку! – крикнул Лермонтов в переднюю, где сидел его верный дядька камердинер и мирно беседовал с денщиком.

Трубка была подана и выкурена раньше, чем поэт пришел к какому-нибудь определенному решению. Но решение было все-таки одно: Бахерахтша могла узнать о дуэли только во французском посольстве – или от самого Эрнеста де Баранта, или от его секунданта, графа д'Англэза. Вернее всего, Барант прихвастнул своим подвигом именно для того, чтобы набить себе цену, а в руках пылкой Бахерахтши оказались таким образом точные сведения.

Из комнаты Лермонтова опять раздался возглас:

– Трубку!

К объяснению все еще не прибавилось ни единого слова. Поэт курил и размышлял. Съездить бы в Петербург! Но теперь он, конечно, не получит отпуска. А если уедет без разрешения, немедленно навлечет на себя новые подозрения. Ясно, что с него не спускают глаз. Недаром из канцелярии полка уже справлялись, готово ли объяснение. Никогда еще генерал Плаутин не проявлял такой подозрительной поспешности.

Михаил Юрьевич походил по комнате. Остается играть на те карты, которые имеются на руках, хотя бы и были эти карты не очень выигрышны. Он снова сел за стол. Его спасение заключается в том, чтобы отписаться, ничего не сказав по существу.

«16 февраля на бале у графини Лаваль господин Барант стал требовать у меня объяснения насчет будто мною сказанного. («Очень хорошо и туманно! Можно продолжать в том же духе».) Я отвечал, что все ему переданное несправедливо, но так как он был этим недоволен, то я прибавил, что дальнейшего объяснения давать ему не намерен. («Кажется, выходит еще лучше! Попробуй угадай, о чем шла речь! А дальше уже нет нужды скрывать».) … он сказал, что если б находился в своем отечестве, то знал бы, как кончить это дело: тогда я отвечал, что в России следуют правилам чести так же строго, как и везде, и что мы меньше других позволяем себя оскорблять безнаказанно. Он меня вызвал, мы условились и расстались».

Теперь можно описать и самый ход дуэли. Упомянув о поединке на шпагах, Лермонтов закончил:

«Тогда взяли мы пистолеты. Мы должны были стрелять вместе, но я немного опоздал. Он дал промах, а я выстрелил уже в сторону».

Довольный тем, что объяснение закончено, Лермонтов прибавил:

«Вот, ваше превосходительство, подробный отчет всего случившегося между нами».

И поставил дату: «27 февраля 1840 года».

Философский монастырь

Глава первая

Виссарион Белинский проснулся поздно, а встать не мог. Мучил кашель, долгий, сухой, отрывистый. Часы уже пробили одиннадцать, но все еще не было сил, чтобы откинуть теплое одеяло и встать за рабочую конторку.

Ранняя петербургская весна давала о себе знать холодным, мокрым туманом. В такие дни рождается острое беспокойство: неужто все больше будут убывать силы?

На конторке лежит едва начатая статья для «Отечественных записок» и рядом стопка еще не прорецензированных книг… Но, кажется, опять пропадет день в безделье. Начинается новый припадок мучительного кашля, потом выступает испарина, и долго мучает предательская одышка.

Виссарион Григорьевич через силу поднялся с постели и, накинув халат, перебрался на диван. Сидел неподвижно, закрыв глаза… Совсем нехорошо, смутно на душе. И если бы только от нездоровья! Куда хуже то, что не хотят понять его многие читатели. Он с жаром и трепетом души говорит им о величайших истинах философии, а у читателей, наиболее близких и дорогих сердцу, поднимается недоуменный, порой даже враждебный холодок.

Пусть так, размышляет Виссарион Григорьевич, он ни перед чем не отступит в служении истине…

Жизнь в столице поставила его лицом к лицу с тем самым самодержавно-полицейским произволом, существование которого нужно было считать необходимо сущим во имя принятой им философской доктрины…

Что же случилось с Виссарионом Белинским? Неужто он перестал видеть торжествующих угнетателей?

Нет! Глаза его в Петербурге стали еще зорче. Народ терпит жестокое бедствие. Рабовладельцы отнимают последний кусок от голодных. И все это тоже надо считать необходимым только потому, что все это существует?..

Но в жизни есть и другое. Голодные не хотят умирать покорно. Бунты вспыхивают то тут, то там. Неужто и эта разгневанная воля народа, все эти жертвы ничего не могут изменить?

Виссарион Григорьевич встал с дивана, откинул прядь волос, упавшую на лоб, и стал ходить по комнате. От гнева и ненависти снова поднимается одышка. Становятся нестерпимо тяжелы добровольно наложенные на себя философские цепи…

На окнах и на столе благоухают цветы, оранжерейные первенцы робкой петербургской весны. Единственная роскошь, бросающаяся в глаза в одиноком жилище. Каждый раз, когда любуется этими цветами Виссарион Григорьевич, он испытывает страстное, ни с чем не сравнимое наслаждение и… смущение, похожее на укор. Нежные произведения тепличной флоры не по карману бедствующему сотруднику «Отечественных записок». Да, пожалуй, и цветы чувствуют себя здесь недоуменно, словно дивясь, как они попали в эту скромную комнату. А все произошло только потому, что, проходя вчера вечером мимо цветочного магазина, Виссарион Григорьевич собирался только полюбоваться пестрой роскошью витрины и неведомо как зашел в магазин и, к удивлению приказчика, не привыкшего к таким покупателям, оставил в магазине всю свою убогую наличность.

«Этакое малодушие! Этакая недостойная страсть!» – мысленно корит себя грешник и, коря, твердо знает: при первом случае может повториться то же самое…

Он вооружился ножницами, срезал засохшие листья и занялся поливкой. Блаженные минуты, которые так хочется продлить, чтобы уйти от мучительных мыслей! Но разве от них уйдешь? В философских выкладках все так стройно, все сулит мир и гармонию, а вот в русской действительности…

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, —
Такая пустая и глупая шутка… —

неожиданно для себя вслух прочитал Белинский.

«Опять из Лермонтова?» – удивился он.

Что-то очень часто стали приходить на память лермонтовские стихи.

Это и в самом деле было непонятно. Давно ли он обвинял автора в «прекраснодушии» и наивных попытках восстания против непреложных для данного времени порядков русской жизни, давно ли считал поэта случайным гостем в редакции и своим человеком в великосветских гостиных, а стихи его, эти самые «прекраснодушные» стихи, имеют, оказывается, неодолимую власть. Словно существуют на свете два Лермонтова. Один – который приезжает в редакцию, с ледяной вежливостью манер, с иронической улыбкой, глубоко запрятанной в темных глазах, с колкой шуткой на устах. И другой… Каждый стих его бередит душу, каждое слово звучит, как набатный звон в мертвой тишине русского царства… Когда же успел он, баловень судьбы, наследовавший гений Пушкина, так безнадежно заболеть страшным недугом отрицания?

Виссарион Григорьевич снова берется за поливку цветов, но и цветы не доставляют прежней радости. Морщины бороздят его высокий лоб, около губ ложится горькая складка… Медленно текут минуты размышления.

На конторке так и лежит едва начатая статья. Если не сегодня, то завтра он будет продолжать ее. Неужто же снова говорить о любви, о благодати, о блаженстве жизни, когда, кажется, и тени этих мыслей уже нет в душе…

Тихий стук в двери. На пороге хозяин квартиры, приютивший бездомного скитальца.

– Заходите, Павел Федорович. Искренне вам рад… Вот от безделья опять занялся садоводством, – говорит смущенно Белинский. – Неисправим, грешный человек.

– А я все сомневался, можно ли к вам, – отвечает Павел Федорович Заикин, несмело присаживаясь к столу. – Поверите, с утра размышляю. Может быть, вы какой-нибудь шедевр мысли созидаете, а тут я… Сохрани бог от такой неделикатности… А вдруг, опять же думаю, вовремя угадаю?

– Угадали, угадали, Павел Федорович! Бездельничаю и за то себя кляну.

– Что так? – заботливо спросил Заикин.

– Можно бы сослаться на нездоровье и тем оправдать свое малодушие, – в раздумье отвечал Белинский, – но что толку в этих оправданиях!

Он замолчал и снова взялся за лейку. Павел Федорович нерешительно поерзал на стуле и, деликатно кашлянув, наконец решился приступить к делу:

– А не надумали ли чего-нибудь, Виссарион Григорьевич, касательно моей просьбы? Катнули бы мы с вами в Берлин…

– И рад бы, милейший вы мой Павел Федорович, да жена не пускает…

– Опять изволите шутить?

– Нисколько, – совершенно серьезно ответил Белинский. – А жена моя – старая, кривая, рябая, злая, глупая старуха, сиречь подлая словесность Булгарина, Греча, Сенковского, Полевого и прочей нечисти…

– Да плюньте вы на них!

– Не могу! Мне – и умереть на журнале. Чернила выйдут – собственной кровью писать буду…

– О господи! – всполошился Павел Федорович. – Слушать и то страшно! Нешто хватит вас на всех разбойников? Поедемте-ка лучше к немцам, пока у меня деньги есть… И я всепокорнейше прошу вас удостоить меня чести одолжиться ими бессрочно…

– Одним словом, предлагаете спасаться бегством?

– Да какое же бегство! Все просвещенные люди в Германию едут. Благоустроенная страна, глубина мысли и порядок! Ну, а вернемся – никуда от вас ни Булгарин, ни Греч не убегут. Слезно умоляю, Виссарион Григорьевич, едемте!

Белинский молчал.

– Ну вот, – вздохнул Павел Федорович, – не хотите мне великое одолжение сделать и меня в сомнение ввергаете… Как я один поеду? А кроме вас, не вижу и не хочу другого попутчика. А коли в сомнение впадаю, опять колеблюсь: если не в Берлин, то, может быть, в мою Рассыпную податься?

– И то дело. Не мешает помещику свои деревеньки знать. Поди, управитель-то давно ваших мужиков заездил?

– Ну, какой у меня управитель! Кое-как старостой обхожусь. Может быть, и поехал бы я в Рассыпную, Виссарион Григорьевич, только опять же нерешительность меня одолевает. – Он наклонился к Белинскому и сказал тихо: – Мне мужикам-то будет стыдно в глаза смотреть. Приехал, мол, последнее отбирать… Хоть бы скорее от Секретного комитета какие-нибудь решения вышли…

– Впервой от помещика такие надежды слышу. Приличнее чего-нибудь ждать от комитета вашим крестьянам.

– А я об этом самом и говорю. Думал было когда-то им освобождение дать – решимости не оказалось. Освободить-то освободишь, а как сам после этого в подозрительные попадешь! И торговать живыми людьми – совесть не позволяет. Да и время не то… Просвещенный век! Уж лучше, если бы по распоряжению свыше…

– А коли этого распоряжения не будет?

– А коли не будет, будем помаленьку дальше разоряться. Сижу я, часом, и опять же размышляю: много ли лет мне до конечного разорения осталось?

– Вы бы вместо того сами за хозяйство взялись – и вам бы и крестьянам прямая польза!

– И в это, Виссарион Григорьевич, не верю. Хозяйствовать-то тоже уметь надо, а учиться поздно…

– Ну, так службой займитесь.

– Разве я не пробовал? Честный человек у нас на службе непременно до запоя дойдет или сам держимордой станет. А у меня ни к тому, ни к другому влечения нет… Лучше уж так существовать, в мечтаниях…

– О чем же мечтать-то, Павел Федорович? – Белинский пристально посмотрел на собеседника. – Какие могут быть спасительные от прозябания мечты?

– Да этакие неопределенные, конечно, и разные… Ну вот, к примеру, вдруг, представьте, начнется у нас порядочная жизнь… «А где, спросят, Павел Федорович Заикин пребывает? Ну-ка, сударь, вызволяйте отечество!» А как же, Виссарион Григорьевич, вызволять, коли нас только повиновению учили? Опять неразрешимое недоумение…

– Так! Так! – с ожесточением подтвердил Белинский. – Одним словом:

Толпой угрюмою и скоро позабытой,
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда…

– Это, если не ошибаюсь, Лермонтова стихи? – неуверенно спросил Заикин. – Зажигательные слова! Когда сам читал, кажется, голову поднял: проснитесь, мол, милостивый государь мой Павел Федорович, опамятуйтесь! Ну, а вечером, как водится, опять в преферанс играл и крепко обремизился, должно быть, от дневных волнений… Мы уж и внимать поэтам неспособны. Да не к нам и обращены те слова… Найдутся другие люди. – Он помолчал, глядя в сомнении на Белинского. – Однако же опять назревает вопрос: сыщутся такие или нет? А впрочем, пока что катнем-ка, Виссарион Григорьевич, в Берлин?

Получив решительный отказ, Заикин поднялся и на пороге обернулся.

– Прошу покорно извинить за глупые речи. Что делать! Философия – модная болезнь… А коли увидите господина Лермонтова, передайте ему глубокую благодарность от безвестного анонима: нечасто приходится переживать волнения сердца… Прошу не опаздывать к обеду.

Дверь тихо закрылась. Павел Федорович умел жить и двигаться совершенно бесшумно.

Белинский долго стоял у окна. Казалось, он внимательно наблюдал уличную суету.

– И вот плоды ваших прекраснодушных порывов, господин Лермонтов! – вдруг громко сказал Виссарион Григорьевич.

И надо бы продолжать спор с поэтом, давно мысленно начатый, но тут вспомнились Виссариону Григорьевичу деспот и палач самодержец, виселицы, кнут и плети, жандармы всех рангов, предводители дворянства, исправники, земский суд и священнослужители – жалкие лакеи власти, служащие не за страх, а за совесть или купленные по дешевке… Вот что противостоит в жизни философским схемам, сулящим неведомую гармонию в неведомом будущем.

А ему пишут из провинции, что имя его становится известным и там. И ссылаются все на того же «Менцеля» – статью, которая впервые вышла за его подписью в «Отечественных записках».

Но не тешат автора эти вести. Кажется, он был бы рад, если бы слали ему брань и проклятия. Странный автор, негодующий на одобрение, удивительный философ, жаждущий хулы…

Должно быть, такой задался сегодня день. Рука не поднимается, чтобы взяться за перо. Не прибудет ни единой строки в начатой статье…

Виссарион Григорьевич отыскал старую журнальную книжку и снова прилег на диван. На обложке «Московского наблюдателя» выставлен 1838 год, и сама запылившаяся обложка манит зеленым цветом надежд, которым не суждено было сбыться.

Белинский перелистывает страницы и, скользя по ним глазами, совершает безрадостное путешествие в былые годы.

Вот она, злосчастная статья Михаила Бакунина, казавшаяся в свое время откровением: «Система Гегеля венчала стремление ума к действительности:

Что действительно, то разумно; и
Что разумно, то действительно, —

вот основа философии Гегеля».

Так именно и напечатано в журнале. Две строки, представляющие формулу истины, выделены особо…

А далее следуют решительные выводы, сделанные автором статьи:

«Счастье не в призраке, не в отвлеченном сне, а в живой действительности; восставать против действительности и убивать в себе всякий источник жизни – одно и то же; примирение с действительностью, во всех отношениях и во всех сферах жизни, есть великая задача нашего времени, и Гегель и Гёте – главы этого примирения, этого возвращения из смерти

в жизнь… Будем надеяться, что новое поколение сроднится, наконец, с нашею прекрасною русскою действительностью…»

Так прямо, без всяких оговорок, и сказано в статье: прекрасная русская действительность!

– О Бакунин! Бакунин!

Но как же он-то, Виссарион Белинский, стоя у руля «Московского наблюдателя», все это напечатал?

Глава вторая

И видится Виссариону Белинскому его прежняя московская комнатушка. В воздухе ходят клубы густого табачного дыма. Дым скрывает порой даже лицо собеседника, но отчетливо слышен его голос:

«Ищите истину! Истина – вот единственная и верховная цель мышления. Какова бы ни была истина, жертвуйте ей всеми своими мнениями. В ней, и только в ней, благо!»

Так говорил в те годы Михаил Бакунин, трактуя философию Гегеля.

В комнатушке было тесно и дымно. Если же гасли трубки и дым постепенно расходился, тогда явственно обозначались львиная голова, могучая шевелюра и румяные щеки пророка, и снова гремел, не зная усталости, его голос. Он метал громы и молнии в тех лжефилософов, которые философствовали только для того, чтобы оправдать свои собственные предубеждения.

«Им нет дела до истины! – Бакунин взмахивает трубкой, словно готовясь нанести лжефилософам смертельный удар. – Каждый из них хлопочет только за свою жалкую идейку».

Да, именно так начинал проповедь истины, возвещенной Гегелем, Михаил Александрович Бакунин. И, точно, был похож на пророка, презревшего все во имя истины.

Молодой артиллерийский офицер не задумываясь подал в отставку, чтобы служить людям. Когда он явился в родительский дом, а родители оказались равнодушны к философии, он покинул родовое имение и уехал в Москву.

Москва жила привычной жизнью. Звонили сорок сороков московских церквей. В гостиных шли бесконечные, по-московски бестолковые разговоры: о благолепии митрополичьей службы и непокорстве мужиков, о театральных новинках и ценах на хлеб, о «Дамском журнале» и вечной идее прекрасного…

А в жалкой студенческой каморке, приютившейся черт знает в какой трущобе, пили спитой чай, курили трубки и вели споры о философии. Все это были питомцы Московского университета, которые, брезгливо отвернувшись от жестокой российской неправды, страстно искали пути к будущему. Труден и неясен был этот путь. Не ведая столбовой дороги, молодые философы сбивались на окольные тропы. Удалясь от жизни, попадали в плен бесплодных теорий.

Николай Станкевич был одним из этих искателей. Глядя на него, можно было подумать, что живет и здравствует Владимир Ленский. Та же мечтательная душа, те же поэтические кудри до плеч. Но недаром прошли годы. Владимир Ленский пел «нечто и туманну даль», Николай Станкевич, сведя знакомство с Кантом, Фихте, Шеллингом, первый выписал в Москву сочинения Гегеля. Казалось, царство истины открылось. Увы! Гегель со всеми своими будто бы непогрешимыми формулами уводил в ту же «туманну даль» идеализма. Никто, впрочем, этого не видел. Молодые мечтатели не боялись сладостных плутаний в бесконечном. Когда за Гегеля сел Михаил Бакунин, результат превзошел все ожидания. Он стал пророком гегелианства.

Случалось, Виссарион Белинский был единственным его слушателем. Что из того? Для истины один избранный дороже многих званых…

– Но как же ее, истину, обрести? – едва сдерживая нетерпение, спрашивал Виссарион Белинский.

Больной, измученный неудачами, он только что вернулся из путешествия на кавказские Минеральные Воды.

Бакунин поглядывал чуть-чуть свысока на приятеля, пребывающего во тьме.

– Запомни! Виссарион! Кто хочет знать истину, тот не успокоится ни на каких положительных выводах, но будет неутомимо продолжать поиски: нет ли в исследуемом предмете качеств прямо противоположных? И учит Гегель: истина является не иначе, как следствием борьбы противоположных мнений. Гегель назвал это могучее оружие познания диалектическим методом.

– Важная вещь! – в раздумье откликался Белинский.

Он вовсе не был таким новичком в философии, чтобы не оценить по достоинству новый метод. Еще никто не замечал пропасти, которая лежала между принципами Гегеля и робкими, несостоятельными его выводами. Выставив диалектический метод, Гегель, казалось, звал на суд все существующее в мире и все отжившее обрекал разрушению. Увы! Философ оставлял в запутанности именно те общественные вопросы, которые больше всего тревожили мыслящих людей.

Но не о том говорил в Москве Михаил Бакунин.

– Только философия, вооруженная диалектическим методом, – Бакунин поднял глаза к потолку, за которым видел надзвездный мир, – обязуется и может объяснить действительность.

Знаменательное слово было произнесено.

– Ты говоришь, действительность?! – Белинский насторожился. О если бы вырваться на широкий простор этой действительности! Если бы познать законы, по которым строится история человеческого общества! Если бы увидеть путь к будущему, в котором откроется новая, счастливая для людей жизнь! Если бы покончить с бесконечными и бесплодными спорами о сущности божественного начала, о блаженстве и черт знает о чем еще! А ведь именно обо всем этом без конца спорили на сходках у Николая Станкевича.

Беседы с Михаилом Бакуниным, которые и раньше затягивались до ночи, теперь стали кончаться только к утру.

– До сих пор философия и отвлеченность были тождественны. Не так ли, Виссарион!

– Именно так! К дьяволу абстракцию и всех суесловов ее!

Диалектика Гегеля, казалось, рушила все ложные понятия. Нет и не может быть отвлеченной истины. Истина всегда конкретна. Нет отвлеченных понятий добра и зла. Все зависит от исторических обстоятельств, от условий места и времени.

Все это покоряло новизной и смелостью. Зашатались и рухнули все привычные представления. Интерес к философским импровизациям Бакунина возрастал с каждым днем.

– В Москве я ныне авторитет! – гордо объявил он.

В Москве! А Москва даже не подозревала о том, что происходит в убогой комнате исключенного из университета студента Виссариона Белинского. Самое имя его было забыто, хотя и нашумел в свое время этот студент своими статьями.

Собственно, счет к нему надо бы начинать с драмы «Дмитрий Калинин», которую он написал еще до изгнания из университета. Еще там дерзнул он обличить общество и государство крепостников. И как обличить! По счастью, с этой огнедышащей рукописью могли познакомиться только немногие из благонамеренных людей: это и были цензоры, пришедшие в ужас. А автор драмы, исключенный из университета, вскоре начал журнальную деятельность статьей «Литературные мечтания». Вероятно, это были единственные мечты молодого человека, выстраданные в любви к отчизне и русской словесности, в непримиримой ненависти к ложным богам. Он и нанес ложным литературным авторитетам такие

удары, что зашатались они и в Москве и в Петербурге. Голос его стал отчетливо слышен в русской журналистике. О том свидетельствовало внимание читателей к статьям, печатавшимся в «Молве» и в «Телескопе». Когда же разразилась катастрофа и «Телескоп» был закрыт по высочайшему повелению, Белинский остался без журнала, без перспектив, без заработка.

Михаил Бакунин то расходился с родителями, то уезжал к ним в тверское имение Прямухино, то опять ссорился с ними и возвращался в Москву. Он поселился у Белинского. Белинский жил без надежд и без денег. У Бакунина тоже не осталось ни копейки, после того как он заказал в типографии изящные карточки на французском языке: «Учитель математики М. Бакунин». Он собирался заняться еще переводами.

Никто не мог бы столь красноречиво рассказать о верных заработках, которые сулят ему задуманные дела. Но когда и выпадал какой-нибудь урок, Михаил Александрович, упоенный будущим, забывал вовремя на него явиться. До переводов дело и вовсе не дошло. Зато в сутках оставалось не менее двадцати четырех часов для философии.

Бакунин был горд полным презрением к прозаическим нуждам жизни. Ему было вполне достаточно, если слушателем оставался один Виссарион. Иногда забегал кое-кто из действительных или бывших студентов, поэтов, философов или просто чудаков, подверженных рефлексии. Тогда начиналось философское пиршество.

В этих беседах разбирали по косточкам систему, предложенную Гегелем: мир является проявлением и саморазвитием единой, вечной, абсолютной идеи.

Если же абсолютная идея проявляется в определенных исторических данностях, то всякий протест против этих исторических условий становится наивным и бессмысленным, как борьба против самой абсолютной идеи.

Так родилась знаменитая формула: что разумно, то действительно, и что действительно, то разумно.

Теперь заговорил Виссарион Белинский:

– Действительность! Я встаю и твержу: действительность! Ложусь спать и повторяю: действительность! Осознаем, друзья! Самая ограниченная действительность лучше жизни в мечтах. Новый мир нам открылся! – продолжал Виссарион Григорьевич. – Я понял, что в истории нет произвола, нет случайностей. Каждый момент необходим, истинен и свят!

Иными словами – каждый момент жизни общества исторически обусловлен.

Но здесь-то и подстерегал его капкан. Историческая обусловленность отнюдь не исключает вмешательства и воздействия людей. А Виссарион Белинский, борец по природе, теперь отказывался во имя догмы от возможности борьбы. Именно в это время он сам для себя сковал цепи.

Философия никогда не была для него, как для других, гимнастикой ума. Кровная любовь к родине и народу руководила им во всех исканиях. Учение Гегеля кажущейся стройностью своей вселяло веру в гармоническое будущее. Белинский ринулся навстречу призрачному, обманчивому свету, возжженному Гегелем.

Все без исключения философы, каждый по-своему, пытались лишь объяснить мир. Еще не родилась научная философия, которая поставит своей задачей изменить жизнь.

А пиршества ума в комнатушке у Белинского продолжались. Иногда делали дальние вылазки. Тогда собирались на Маросейке, у Василия Петровича Боткина. Сын богатейшего купца, он сидел днем в торговых амбарах в качестве доверенного приказчика или ездил по ярмаркам, а в свободное время был очень склонен и к философии и к изящной словесности.

У Боткина собирались те, кто примыкал ранее к кружку Станкевича. Самого Николая Владимировича уже не было в Москве. Из-за злой чахотки он только что покинул родину.

Не было в Москве и Александра Герцена. Вместе с Николаем Огаревым он мечтал в университетские годы о том, чтобы создать новый союз, по примеру декабристов. Немецкая

философия, полная туманных, абстрактных формул, решительно для этого не годилась. Герцен и Огарев обратились к французским энциклопедистам. Они увлекались первыми манифестами утопического социализма. Жизнь грубо прервала эти занятия.

В Московском университете Герцен писал кандидатское сочинение на тему «Аналитическое изложение Солнечной системы Коперника» – в Крутицких казармах, куда был посажен арестованный университетский кандидат, ему предложили вопросные пункты, составленные по всем правилам полицейской науки. В университете молодой человек горячо мечтал о счастье человечества – в Крутицких казармах ему прежде всего предложили стать предателем собственных друзей. Поклонника социальных утопий Фурье и Сен-Симона отправили для начала в Пермь, из Перми в Вятку, из Вятки во Владимир. Николая Огарева сослали в отчее имение.

Словом, ни Герцена, ни Огарева тоже не было в Москве. Все способствовало тому, чтобы Михаил Бакунин победно высился на пустырях, оставшихся от прежних студенческих кружков. Правда, у него уже начались столкновения с Виссарионом Белинским. Бакунин жаловался на Виссариона в письмах к Николаю Станкевичу. Станкевичу и прежде приходилось заарканивать этого неподатливого бунтаря; ведь и прежде именно Белинскому часто казалось, что можно умереть от бесплодных рассуждений, которые прикрывали либо вялость мысли, либо отсутствие воли, либо боязнь глянуть в подлинную жизнь.

Теперь воскрес Виссарион Белинский. Когда собирались у Боткина в его уютных, с тонким вкусом обставленных комнатах, снова гремел его голос:

– Ты пойми, Боткин, я гляжу на действительность, столь презиравшуюся мною в прошлом, и трепещу таинственным восторгом… Из нее, из действительности, ничего нельзя выкинуть, в ней ничего нельзя охулить и отвергнуть, ибо только в ней залог будущего развития. Осознай, Боткин, ее разумность!

Василий Петрович привычно щурился: мало ли было и раньше крайностей, в которые впадал Виссарион… И тогда Белинский с пятками румянца на бледных, впалых щеках простирал руку к Бакунину.

– Мишель, приведи его в царство истины!

Михаил Александрович глядел на Белинского, чуть-чуть улыбаясь, а в глазах его появлялся едва приметный холодок.

– Ты, Виссарион, прав, конечно, – говорил он, – главная беда наша в том и состоит, что мы совершенно оторвались от нашей русской жизни и не построили еще того внутреннего идеального мира, который мог бы служить нам прибежищем от ударов чуждой и беспрестанно окружающей нас жизни…

– Стало быть, спасаться на необитаемый остров? – Белинский задыхался. – Ты дьявол в философских перьях…

– И этим идеальным миром, по крайней мере для меня, – продолжал Бакунин, не обратив ни малейшего внимания на слова Белинского, – будет религия…

– Медового пряника захотел, пророк лукавый?

– Религия и философия, – закончил Бакунин, – вот единственные формы познания истины.

– А я плюю на твою истину, коли тебе философия дороже человека! Будь проклят ты, философ без сердца!

Глава третья

В то время случилось почти чудо. Благонамеренный, но захудалый московский журнал, оставшийся без сотрудников и без подписчиков, попал в руки Белинского. Типографщик-издатель предложил ему права полновластного редактора и грошовую оплату. Но Вис-

сарион Григорьевич взялся бы работать день и ночь без всякого вознаграждения – перед ним снова открывалось журнальное поприще!

Перейдя в руки Белинского, «Московский наблюдатель» скинул унылую желтую обложку и оделся в зеленый цвет надежды. Это произошло в 1838 году.

По зову Белинского в журнал пришла молодежь – и прежде всех Михаил Бакунин.

Частые размолвки не мешали содружеству. Правда, журнал оказался новым поводом для споров. Бакунин хотел главенствовать, но натолкнулся на железную волю молодого редактора. Виссарион Григорьевич уже понял, что этот виртуоз формальной диалектики, проповедующий обращение к действительности, лично для себя охоч строить воздушные замки. Ни одно начатое им дело не было закончено – Бакунин всему предпочитал словесные фейерверки. Никто не умел так пламенно звать к героическим подвигам во имя любви к человечеству, но призывы начинались и кончались напыщенной фразой.

Бакунин говорил. Белинский засучив рукава работал. Он готовил номер обновленного журнала. Бакунин переходил от одного проекта к другому, обещая журналу поток философских трактатов, а написал единственную статью, в которой обосновал пресловутый тезис Гегеля. Так и появились в этой статье программные строки, в которых отразилась природа бесплодного философского созерцания:

«Что действительно, то разумно, и что разумно, то действительно».

Но неужто все существующее непременно разумно? Это утверждение давно вызывало недоумения и нападки. Самому Гегелю пришлось давать пространные разъяснения. Однако читатели «Московского наблюдателя» ничего об этом не узнали. Другое дело, если бы кому-нибудь удалось заглянуть в конспекты Бакунина, составленные им при изучении трудов Гегеля. В одном из них Бакунин записал: «Гегель говорит, что под действительностью не может быть понимаема всякая повседневная действительность, которую он признает призрачною, а лишь такая действительность, в которой исключены все призрачные, преходящие явления…»

Почему же в статье Бакунина в «Московском наблюдателе» не появилось ни одной из этих оговорок? Может быть, в таком случае нельзя уже было бы безоговорочно писать о «прекрасной русской действительности»? Или нужно было бы счесть «призрачной» власть самого императора Николая Павловича?

Бакунин был азартным игроком. Никто не умел так легко и убедительно рассеять любое сомнение в непреложности гегелевской системы. Для вящей убедительности он прибегал к аргументам, которые являлись не столько положениями Гегеля, сколько плодом его собственного вдохновения… Ведь только он один был знатоком подлинных сочинений прославленного философа.

– Я авторитет! – повторял Михаил Александрович, заговаривая сомневающихся.

Он был самолюбив и деспотичен. Даже дружественные к нему люди в шутку, но, конечно, в отсутствие пророка, говорили:

– Бакунин требует не только согласия с собой во взглядах, но даже одинакового взгляда на погоду и общего вкуса к гречневой каше…

Бакунинская статья стала программой обновленного журнала. Белинский уверовал в формулу разумно-действительного. Невероятное совершилось. Борец и воин по природе сам наложил на себя насильственный обет примирения. Критик утверждал, что всякий момент жизни велик, истинен и свят, как необходимый этап в историческом развитии общества. Он уверял, согласно догме, что дисгармония будет преодолена в гармонии. Но, должно быть, у Виссариона Белинского не было терпения ждать наступления этой неведомой гармонии. Признавая в теории существующую русскую действительность исторически обусловленной, сам он на практике ее взрывал, воюя со всеми литературными холопами. Любая рецензия его была щедро начинена порохом.

Таков был этот философ: мирясь, он не мог не бороться. Он служил выстраданной вере, проклиная ее и скрежеща зубами.

Станкевич писал ему из-за границы, советуя почаще смотреть в синее небо – образ бесконечного, – чтобы не впасть в «кухонную действительность». Таково было впитанное в замкнутом кружке брезгливое отношение к реальной жизни. Это была именно та порочная традиция, против которой взбунтовался Виссарион Белинский. Теперь уж никто не мог его заарканить. Он отвечал, что в небе, разумеется, легче увидеть образ бесконечного, чем в кухне. Но он, Белинский, не боялся житейской прозы, какова бы она ни была.

Когда в Москву на короткую побывку приехал из ссылки Александр Герцен, он застал друзей страстно увлеченными учением Гегеля. Было похоже на то, что образовался невиданный философский монастырь. Все брошюры, выходившие в Германии, где только упоминалось имя Гегеля, выписывались и зачитывались до дыр. Белинский вел яростные споры с Бакуниным и, едва расставшись, слал ему письма, которые сам иронически, но не без основания, называл «диссертациями». У философов образовался свой язык, непонятный для непосвященных.

Александр Герцен приехал много передумавший, много испытавший, столкнувшийся лицом к лицу с гнусным произволом. Когда он об этом заговорил, ему отвечали формулой Гегеля.

Предстояла, очевидно, жаркая схватка. Не с Бакуниным, конечно, который вовсе и не был склонен говорить о низменных явлениях действительности. Ведь и в родном Прямухине он, витая в философских эмпиреях, ни разу не остановил взгляда на участи собственных крепостных крестьян…

А по Гегелю крепостное право можно было отнести к явлениям призрачным, и формула разумной действительности снова становилась беспорочной. Не было никакого смысла упражняться в этой схоластике с Михаилом Бакуниным. Схватка предстояла с Виссарионом Белинским.

Друзья-противники долго присматривались друг к другу. Герцен то участвовал в спорах Белинского с Бакуниным, то принимал на себя их общие удары, то, покинув философский монастырь, бродил по знакомым московским улицам. К ночи чаще попадались навстречу бледные, истощенные люди в лохмотьях. Они возвращались после работы в свои подвалы. Из окон особняков лился яркий свет. Герцену казалось, там ростовщики, купцы, фабриканты пересчитывают золото, купленное кровью подневольных рабов. Кандидат Московского университета, значившийся в полицейских бумагах как «смелый вольнодумец, весьма опасный для общества», наяву слышал звон этого проклятого золота.

Иногда Герцен читал приятелям отрывки из своих сочинений. В сцене, озаглавленной «Пролетарий», английский сапожник, живущий в величайшей бедности, беседует с подмастерьем:

Мы сутки целые должны работать,
Чтоб хлеб иметь насущный.
Есть для других науки, книги,
Досуг чем хочешь заниматься,

Для них раскрыт весь мир господень,
И от избытка притупились их
Желанья вялые. А нам что на
Замен всего ограбленного дали?
Работу тяжкую и униженье.

По замыслу автора, этот сапожник, основатель секты английских квакеров, встречается с сыном могущественного лорда Вильямом Пеном. Молодой лорд порывает все связи с миром аристократии, чтобы вместе с единомышленниками переселиться в Америку и построить там новую, справедливую жизнь.

– Твой герой обретет это счастье в Америке? – спрашивали Герцена нетерпеливые слушатели.

– Не думаю, – отвечал автор драматических сцен. – Да и был ли способен к этому квакер-фанатик? – Герцен задумчиво поглядывал на свою рукопись. – Меня интересует в этих сценах отнюдь не история, а социальная правда. Ведь везде, во всем мире, господа, отходящее старое теснит возникающее юное… – Он постепенно увлекся и заговорил с присущим ему жаром: – Везде мы видим разрыв двух миров, везде две противоположные нравственности с ненавистью глядят друг на друга.

И уже забыты были английские квакеры. Автор призывал подумать о русской жизни. Не выдуманный герой, а сам Александр Иванович Герцен, познавший в скитаниях русскую жизнь, говорил с будущими читателями от имени подневольных русских людей:

– А нам что на замен всего ограбленного дали? Работу тяжкую и униженье…

Так говорил молодой русский писатель Александр Герцен, по-своему продолживший страстную речь Александра Радищева.

Встречи с Белинским происходили почти каждый день. Пробил час решительного объяснения.

– Итак, по-вашему, надо принять как сущее всю нашу действительность? – начал Герцен.

– Безусловно, – хмуро отвечал Белинский.

Герцен вспылил. Он приводил одно за другим вопиющие преступления власти. Белинский слушал не перебивая.

– И реальное зрелище угодливого холопства, и казнокрадство, и шпионство, и бесправие, и стоны истязуемых, и муки голодных – на все это нужно глядеть сложа руки?!

Белинский помолчал, только судорога прошла по его лицу.

– Выслушайте меня и поймите, – твердо отвечал он. – Жизнь развивается и будет развиваться, независимо от того, нравится или не нравится нам та или иная историческая данность.

– Какое непостижимое, трагическое заблуждение! – воскликнул Герцен.

– Таково мое убеждение, – спокойно отвечал Белинский. – Против убеждения никакая сила не заставит меня написать ни одной строчки. Мне легче умереть от голода, я и без того рискую этак умереть каждый день… – Он горько улыбнулся.

– Ну вот вам еще один, последний аргумент, – начал Герцен после длительного молчания. – Я буду сражаться вашим же оружием. Вы говорите – наша действительность, как и всякое историческое бытие, разумна. Пусть на минуту будет так. Но в таком случае и борьба с нею будет не менее разумна и оправданна. Не так ли?

– Это было бы проявлением прекраснодушия. В нем, может быть, много чувства, но нет ни крупицы разума…

Друзья, ставшие противниками, расстались.

Казалось, споры молодых людей шли о философии. По существу – в московских закоулках шли поиски путей для познания и устроения жизни. Но где же пролегал этот путь?..

Герцен вернулся из Москвы в ссылку, во Владимир. Белинский переехал в Петербург. Для него наступили месяцы страданий, сомнений, тяжелой внутренней борьбы. Гегелевская смирительная рубашка трещала по всем швам, однако все еще держалась.

…Мартовское петербургское солнце раньше заглядывает в комнату, отведенную Виссариону Белинскому в тихой квартире Заикина, и позже оттуда уходит. Масленицу сменил

великий пост, а Павел Федорович все еще готовится к поездке в Берлин и никак не может решиться. К прежним его сомнениям каждый день присоединяются новые, но он избегает понапрасну тревожить своего постояльца.

Виссарион Григорьевич с утра стоит у конторки и пишет, быстро отбрасывая исписанные листы. Когда онемеет рука, он расхаживает по комнате. На столе, как память прошлого, лежат старые книжки «Московского наблюдателя». Нет-нет да и взглянет на них усталый человек.

– О Бакунин, Бакунин! Где же прекрасная русская действительность? Уж не в этой ли злополучной книжке ты и существуешь?

И, вернувшись к своей конторке, еще долго не может начать работу, все продолжает незаконченный спор.

– Нападаю и буду нападать на идеальность, – говорит Виссарион Григорьевич, – и всегда предпочту ей самую ограниченную действительность и полезность в обществе… А ежели в журналистике у нас верховодят Булгарины, сиречь подлецы, шпионы, доносчики, что же мне, отказаться от литературной деятельности или пребывать только в идеальной с ними войне? Нет, пока рука держит перо, пока есть еще силы, не прятаться буду я, а пойду навстречу этой гнусной действительности.

Он только что хотел взяться за перо, как в дверь постучали.

– Войдите! – недовольно откликнулся Белинский.

На пороге стоял Иван Иванович Панаев. Не здороваясь, он выкрикнул новость:

– Лермонтов арестован!

Поэма поэм

Глава первая

– Поручик Лермонтов? – спрашивает председатель военно-судной комиссии и, получив утвердительный ответ, продолжает вопросы по установленной форме.

Сам председатель, полковник Полетика, не искушенный в судебных процедурах, чувствует себя не очень уверенно. Члены комиссии, офицеры гвардейских полков, хорошо знают подсудимого, но сейчас, сидя за судейским столом, стараются хранить торжественно-официальный вид.

Лермонтов отвечает коротко, сдержанно. Потом чиновник-аудитор вручает ему письменные вопросные пункты.

Поэт быстро пробежал глазами по судейской бумаге: не раскроется ли закулисная интрига, из-за которой вышла в свет тайна дуэли? Но тщетно искать каких-нибудь нитей в округло-витиеватых канцелярских фразах.

«В письме вашем к господину полковому командиру о произведенной вами с господином Барантом дуэли все ли вы справедливо объяснили?»

Лермонтов перечитал вопрос и слегка улыбнулся. «Коварство или наивность?»

Но в следующем пункте не было и тени наивности.

«В дополнение вышесказанного письма вы должны объяснить, по какому обстоятельству и какого рода объяснения требовал у вас господин Барант. Когда же вы ему в том отказали, то в каких словах произнес он вам свой колкий ответ, а также в каком смысле заключалась и та колкость, которою вы ему возразили?»

Аудитор смотрел на подсудимого, не скрывая злорадства: как, мол, выпутаешься, голубчик, из моих сетей? Лермонтов поймал этот взгляд. Ну что ж, он не доставит торжества усердному аудитору, он отпишется столь замысловато, что позавидует любой судейский крючок. Обвиняемый придвинул бумагу и взял перо.

Центральная часть его объяснений выглядела так:

«Обстоятельство, по которому господин Барант требовал у меня объяснения, состояло в том: правда ли, что я говорю на его счет невыгодные вещи известной ему особе, которую он мне не назвал…»

Надо было отписаться и от вопроса о колкостях. Ответ целиком соответствовал принятому им плану защиты: писать не скупясь, но ничего по существу не открывать.

«Когда я сказал, – писал Лермонтов, – что никому не говорил о нем предосудительного, то его ответ выражал недоверчивость, ибо он прибавил, что все-таки если переданные ему сплетни справедливы, то я поступаю весьма дурно, на это я отвечал, что выговоров и советов не принимаю и нахожу его поведение весьма смешным и дерзким…»

Поэт приостановился, очень довольный: пусть еще раз кушает на здоровье господин Барант!

Оставался последний, неприятный вопрос:

«Почему вы тогда же не донесли о происшествии начальству?»

Михаил Юрьевич на секунду задумался.

«Не донес я о сем происшествии единственно потому, что дуэль не имела никакого пагубного последствия».

Объяснение было закончено. После подписи подсудимого поставили, как полагалось, подписи судьи и аудитор. Жадно прочитав объяснения обвиняемого, он смотрел теперь

почти с уважением на гусарского поручика, который оказался таким докой по письменной части.

– Поручик Лермонтов, вы свободны, – объявил председатель судной комиссии.

– Я не совсем понимаю вас, господин председатель…

Но уже и полковник Полетика понял, что у него сорвалось совсем не то, что следовало.

– Я хочу сказать, – поправился он, – что вы свободны от допроса и будете вновь препровождены в место содержания под арестом.

И вот снова камера Ордонанс-гауза и печальные мысли. После смерти Пушкина его так же таскали на допросы о «непозволительных стихах», раньше чем сослать на Кавказ. Пожалуй, теперь непременно вспомнят старое, благо есть кому вспомнить. А бабушка? Будет ли ей утешением хоть то, что раньше ее внука сослали за стихи, а теперь тоже наверняка сошлют, хотя о стихах как будто и не вспоминают?

Через день после допроса поэта перевели из Ордонанс-гауза на арсенальную гауптвахту. Условия ареста стали гораздо легче. И это было благоприятным признаком. В самом деле, пустяковая история – дуэль без всяких последствий. А главное – совсем не вспоминают ни о стихах, ни о прозе.

Но это было не совсем так. За ничтожным поручиком внимательно следил в эти дни сам император. Еще раньше, чем собралась военно-судная комиссия, император имел краткую беседу с министром иностранных дел.

– Молодого Баранта, – приказал он, – удалить за границу. Я разумею, посоветовать ему временно покинуть Россию. Нет нужды привлекать его к следствию.

Министр согласно наклонил голову.

– У нас говорят, – продолжал император, – что Россией управляют столоначальники… Ведь говорят? – уставился он на графа Нессельроде.

Министр предпочел вместо ответа лишь снова склонить голову, не то согласно, не то укоризненно.

– Но я не позволю, – закончил Николай Павлович, – чтобы какой-то поручик бросал свою шпажонку на колеблющиеся весы отношений Франции с Россией.

– По счастью, ваше императорское величество, – поторопился сообщить Нессельроде, – с тех пор как граф Пален, по вашему повелению, отбыл обратно в Париж, французское правительство высоко оценило мудрость августейшего повелителя России.

– К Франции мы еще вернемся… Во всяком случае, по поводу этой возмутительной дуэли вырази мое сочувствие послу.

Таким образом, его величество почти ничего не сказал о Лермонтове. Он просто назвал его «каким-то поручиком». Но император хорошо помнил фамилию Лермонтова. Помнил бурю, которую поднял Лермонтов своими стихами три года тому назад. И даже больше – его величество внимательно читал сочинения этого поручика, появлявшиеся в журналах.

А граф Нессельроде, получив высочайшее указание по делу, о котором уже говорили во всех петербургских гостиных, имел, как обычно, совещание с супругой.

Ее сиятельство графиня Нессельроде управляла не только министром и министерством иностранных дел. Не менее искусно она руководила мнением света. Это в ее салоне оплакивали в свое время участь Жоржа Дантеса-Геккерена, так «жестоко пострадавшего» из-за Пушкина. Это она пришла в ярость, узнав о стихах, в которых какой-то смутьян осмелился обвинять Дантеса и – страшно сказать! – поносил последними словами аристократию. Графиня не помнила имени автора ужасных стихов, ей ничего не сказала фамилия дерзкого офицера, осмелившегося драться с Эрнестом де Барантом, но она безошибочно определила позиции и для мужа и для себя.

По примеру графини Нессельроде многие знатные дамы явились с визитами во французское посольство, к несчастному отцу и матери милого Эрнеста. Подумать только – они должны претерпеть разлуку с любимым сыном!

Старики Баранты, видя знаки такого внимания, были растроганы до слез. А молодой Барант положительно не понимал, зачем нужно ему покидать гостеприимный Петербург, когда о нем наконец заговорили, да еще в такое время, когда отец уже начал успешные хлопоты в Париже об официальном назначении его секретарем посольства России.

Посол не разделял легкомыслия сына. Дипломатическое назначение могло совсем не состояться из-за этой дуэли. Эрнесту нужно было, хотя бы временно, покинуть русскую столицу. Все это было бесспорно, но еще не исчерпывало возможных неприятностей.

Барон хотел получить заверение в том, что его сын после возвращения в Петербург будет в полной безопасности от нападений господина Лермонтова. Обычно посол сносился с министром иностранных дел. Но барон де Барант хорошо знал петербургские обычаи. Он решил получить добрый совет от шефа жандармов. Граф Бенкендорф, больше чем кто-нибудь, сведущ в порядках, заменяющих на Руси законы. Никто в Петербурге не был так рассудителен и услужлив, как милый граф Александр Христофорович.

Бенкендорф и на этот раз оказался очень предупредителен.

– Русское правительство, – сказал он и при этом подарил барона де Баранта улыбкой, – избавит семейство посла от всяких тревог и найдет для этого надежные меры. Но объединим наши усилия: не проявляйте и вы ни малейшего снисхождения к противнику вашего сына… Кстати, – вдруг вспомнил Бенкендорф и заглянул в лежавшую перед ним папку с бумагами, – поручик Лермонтов заявляет в своих показаниях, что после неудачного выстрела вашего сына он будто бы выстрелил в сторону… Разыграл, изволите ли видеть, этакого великодушного рыцаря!

– Мой сын не нуждается ни в чьем великодушии! – вспылил барон де Барант.

– Кто же в этом сомневается, мой дорогой барон! – Бенкендорф сочувственно вздохнул и снова заглянул в бумаги. – Да, да, – продолжал он, – представьте, противник вашего сына так именно и показывает, будто выстрелил в сторону… Разумеется, я сообщаю вам об этом доверительно, ваше превосходительство, и нарушаю тайну следствия. Но чего не сделаешь во имя дружбы!

– О, благодарю вас! – ответил барон де Барант. – Защитите же честь моего сына, граф!

Бенкендорф развел руками.

– Если бы мы были всемогущими, ваше превосходительство! – Он выдержал паузу, всю значимость которой должен был оценить собеседник. – Впрочем, русские власти всегда будут стоять на страже справедливости, – заключил шеф жандармов. – Не сомневайтесь в искренности моих слов.

Проводив гостя, Бенкендорф с особым вниманием перечитал копию показаний секунданта Лермонтова, Алексея Аркадьевича Столыпина.

После ареста Лермонтова Столыпин почувствовал, что над головой поэта собираются грозовые тучи. Было похоже, что молнии готовы ударить откуда-то с высоты. Интрига, если и начала ее Тереза Бахерахт, давно дошла до дворцовых сфер. А Столыпина никто не звал, никто не допрашивал.

Тогда он обратился к помощнику Бенкендорфа, заявляя о своем участии в дуэли и требуя привлечения к делу.

Но генерал Дубельт или был занят другими делами, или полагал, что секундант Лермонтова никого не интересует. Столыпину пришлось потревожить самого Бенкендорфа.

Нельзя было сделать шага более неудачного. Столыпина немедленно арестовали и подробно допросили. Собственно говоря, Алексей Аркадьевич не имел никаких оснований обращаться к жандармам. Как ни всемогуще было ведомство графа Бенкендорфа, не оно

ведало до сих пор следствием о дуэли. Но, должно быть, Столыпин, как и многие россияне, был убежден, что все пути ведут к Бенкендорфу, а может быть, подтолкнул его страх неизвестности.

Да и граф Бенкендорф, осведомившись о дуэли, вовсе не обязан был ею заниматься. Мало ли стреляются господа офицеры. Иное дело, когда обозначилась перед глазами шефа жандармов фамилия поручика Лермонтова. Отныне граф Бенкендорф, формально не участвуя в следствии, уже ни на минуту о нем не забывал.

Сначала Столыпин показал, что выстрелы противников последовали так скоро один за другим, что нельзя было определить, чей именно выстрел был сделан прежде.

Этот неопределенный ответ Столыпина не мог удовлетворить любопытство голубых мундиров. Ведь Лермонтов показывал, что он намеренно выстрелил в сторону. Может ли подтвердить именно это обстоятельство господин Столыпин?

Столыпин долго обдумывал ответ. После колебаний он нашел наконец новую, но столь же двусмысленную формулу:

«Направление пистолета Лермонтова при выстреле не могу определить и могу только сказать, что он не целился в де Баранта».

С тем Столыпина и отпустили. Он был немедленно освобожден. Правда, где-то в тайниках души оставалось чувство неловкости: не купил ли он свободу слишком дорогой ценой? Но кто обратит внимание на ничтожную мелочь, которая будет навсегда похоронена в следственных протоколах!.. К тому же он сам был теперь не уверен: может быть, он и не видел, куда был направлен пистолет Лермонтова… «Ну конечно, не видел», – окончательно успокоил встревоженную совесть Алексей Аркадьевич.

А в бумагах, представленных шефу жандармов, жирной чертой было подчеркнуто: секундант Лермонтова не подтвердил важнейшего показания о том, что Лермонтов будто бы стрелял в сторону. Не целиться – одно; отвести пистолет в сторону – совсем другое дело.

– Очень хорошо, – вслух сказал граф Бенкендорф, перечитав показания Столыпина, и прикрыл усталые глаза. Так легче думать, не рассеиваясь.

Дело уже дошло до императора. Зашевелился граф Нессельроде. Хлопочет французский посол… И черт бы побрал всех этих писак! Стоило умереть одному, Пушкину, – и тотчас на смену объявился Лермонтов. Это именно его стихи одуревшие придворные старухи приняли когда-то за призыв к революции. Шеф жандармов и сам на всякий случай попугал тогда императора: может быть, и есть где-нибудь какая-нибудь тайная партия? Разве на усердных, но малограмотных агентов можно положиться до конца?

Но никакого тайного общества нигде не обнаруживалось. Гроб Пушкина тайком увезли на Псковщину и там без огласки похоронили. Время тревог благополучно миновало. Выходит, юный гусарский корнет нагородил в своих стихах всякой чепухи по молодости только, по собственному неразумию. Вот тогда и поддался малодушию Александр Христофорович. Старуха Арсеньева могла всякого взять измором. К тому же не опасно было сделать благородный жест: корнет Лермонтов, всеми забытый, кочевал где-то по Кавказу. Сам Бенкендорф лично просил тогда о прощении Лермонтова, в уважение к слезницам бабки его Арсеньевой… Именно так было три года тому назад.

А теперь, когда всплыла история этой дуэли, вдруг все вспомнит его величество и грозно нахмурит брови. «За кого же ты, Бенкендорф, просил? А он, твой протеже, устраивает скандалы в маскараде августейшим особам и стреляет в сына французского посла… Что теперь мне ответишь?»

Александр Христофорович открыл глаза и оглянулся – так явственно послышался ему грозный голос самодержца… А ведь может его величество и далее продолжить: «Читал ли ты, Бенкендорф, новые пьесы оного поручика?»

О них, точно, не раз отзывались шефу жандармов высокопоставленные особы. Докладывала и секретная агентура, приставленная к наблюдению по литературной части. Следовательно, не по молодости лет и не по неразумию, но по закоренелой дерзости своей действует поручик Лермонтов… Довольно натерпелись с Пушкиным! Лучше взять меры вовремя, чем опоздать.

Граф спрятал бумаги в стол и решительными шагами пошел из кабинета.

Интрига завязывалась в Зимнем дворце, в министерстве иностранных дел, во французском посольстве и, наконец, в кабинете шефа жандармов.

А председатель, члены и аудитор военно-судной комиссии, ничего не ведая о событиях в высоких сферах, сочиняли вопросные пункты для Эрнеста Баранта и, учитывая принадлежность его к семейству посла, отправили их в министерство иностранных дел для вручения по принадлежности.

Бумаги пошли на доклад к графу Нессельроде.

Министр пожевал губами и равнодушным голосом приказал:

– Вопросные пункты вернуть военно-судной комиссии, осведомив ее, что барон Эрнест де Барант отбыл за границу.

Глава вторая

Эрнест де Барант действительно собирался в Париж, однако поспешности не проявлял. Да он и не мог уехать – на карту поставлена его честь.

Молодой человек, числившийся, по сведениям министерства иностранных дел, выбывшим за границу, разъезжал по петербургским аристократическим гостиным и клялся, что проучит Лермонтова.

– Он смеет говорить… – Эрнест Барант задыхался от возмущения, – он говорит, что стрелял в сторону! Пусть он лжет, если не умеет сохранить достоинство, попав под суд. Допускаю! Но пусть он поищет другую лазейку. Оказывается, это он, по своему великодушию, подарил мне жизнь. Каково?! Я требую объяснения. Я снова призову его к барьеру!

Милому храбрецу горячо сочувствовали – и в первую очередь дамы. Плутишка Эрнест так хорош, когда горячится! Совершенно магнетические глаза!

И чем больше чувствовал себя героем петербургских гостиных молодой француз, тем решительнее собирался наказать противника. Правда, противник сидел за решеткой и не мог слышать ни одного из монологов, выдержанных в стиле высокой французской трагедии. На гауптвахту к Лермонтову не ездили светские дамы, которые были постоянными посетительницами салона графини Нессельроде и принадлежали к самым пламенным поклонницам шалуна Эрнеста.

Но это не значит, что поэт коротал мрачные дни в одиночестве. У Лермонтова побывали участники сходок, происходивших у графа Браницкого. Каждый, явясь сюда, чувствовал, что выполняет гражданский долг, невзирая на опасность, хотя вход на арсенальную гауптвахту был почти свободен. Это не мешало членам тайной палаты крепко пожимать руку поэту с заговорщическим видом.

Побывал у Лермонтова и Андрей Александрович Краевский, предварительно осведомившись о том, что к поэту легко проникнуть без официального разрешения.

Краевский привез узнику только что вышедшую мартовскую книжку «Отечественных записок» с повестью графа Соллогуба «Большой свет».

– Посмеешься на досуге, Михаил Юрьевич. Единственный в своем роде памфлет, поражающий не цель, но самого автора!

Лермонтов не обратил на повесть Соллогуба никакого внимания:

– Неужто тебе нечего больше печатать, Андрей Александрович? – мимоходом спросил он и отложил журнал в сторону.

– Побывал бы ты на моем месте, Михаил Юрьевич! – со вздохом возразил Краевский. – Лермонтов, видишь ли, предпочитает превращать свои повести в роман и печатать их отдельной книжкой, а у Соллогуба всегда есть что-нибудь готовое для журнала. Вот и приходится печатать. Спасибо и на том. А сам знаешь, читатели просто с ума сошли: давай и давай им русские оригинальные повести… Соллогуб-то у тебя не был?

– Не вижу и повода для этого визита.

– Помилуй, он непременно обещал у тебя быть!

Действительно, граф Соллогуб явился на следующий же день. Ни тени смущения не было на его породистом лице; вот что значит светское воспитание! Владимир Александрович, только что напакостивший в своей повести, изящно улыбался, спрашивал о здоровье и смотрел на поэта ясным взором. Должно быть, граф Соллогуб никогда не слыхал о существовании литературной совести.

Лермонтов наблюдал за гостем с тайным интересом. А гость, преисполненный сочувствия к узнику, решил развлечь его рассказами о великосветских слухах.

– Представьте, Михаил Юрьевич, Эрнест Барант разъезжает по городу и всюду рассказывает, что вы дали ложное показание…

– Как же он мог о нем узнать? – удивился поэт. – Разве он тоже привлечен к следствию?

– Отнюдь нет. Однако он категорически утверждает, что показание ваше о выстреле в сторону сплошная ложь.

Лермонтов рассеянно слушал.

На гауптвахте снова стали появляться приятели офицеры, и каждый повторял одно и то же.

– Барант в бешенстве от твоих показаний. Он бьет себя в грудь и кричит, что сумеет проучить тебя, – говорил граф Александр Браницкий, брат Ксаверия, председательствовавшего на тайных сходках.

– Меня гораздо больше интересует, как он узнал о моих показаниях. Или тайна следствия не существует для посольства? Признаюсь, я не мог предположить такого холопства у наших судей.

– Ходят слухи, что тобой и твоим делом интересуются не только в суде или в бабьих салонах, – отозвался граф Браницкий. – Поднимай выше!

– Тем более странно, что тайна следствия угодливо раскрывается перед иностранцами. Впрочем, вот что, Браницкий, поручаю тебе важное дело – пригласи ко мне от моего имени Эрнеста де Баранта.

– На гауптвахту? – удивился Браницкий.

– Но что же делать, если у меня нет возможности нанести ему визит во французском посольстве! А поговорить с ним придется немедля. Прошу тебя, исполни мою просьбу и прояви должную настойчивость, если французик заартачится.

Мартовским поздним вечером, когда темнота надежно укрывает петербургские улицы, у арсенальной гауптвахты появился одинокий всадник. Он спешился и, озираясь, скрылся в воротах. В коридоре ждал его Лермонтов.

Здесь и состоялось еще одно свидание поэта с недавним противником. Они говорили вполголоса, опасаясь привлечь внимание стражи. Лермонтов то и дело оглядывался, – караульный офицер, по счастью, не появлялся. Поэт сразу приступил к делу:

– Правда ли, господин барон, что вы недовольны моими показаниями, которые – я не знаю, как – стали вам известны?

– Я требую, чтобы вы отказались от ваших заявлений, оскорбительных для моей чести! – надменно отвечал гость.

Встретив пристальный взгляд поэта, барон несколько смутился.

– Не вижу для этого причины, – спокойно продолжал Лермонтов. – Я показал правду, даже если эта правда и неприятна вам, господин барон. Я не возьму назад ни слова. Если же вы считаете себя оскорбленным, готов к вашим услугам, как только получу свободу.

Лермонтов долго ждал ответа.

Приехав без особой охоты, Барант никак не мог обрести теперь того героического стиля, который так хорошо усвоил в дамских гостиных. К тому же свидание без свидетелей ни к чему не обязывает.

– Я совершенно удовлетворен, господин Лермонтов, вашим объяснением, – ответил наконец француз.

Поэт удивленно на него взглянул, но таинственный посетитель величественно откланялся и поспешно исчез.

Он вернулся во французское посольство присмиревший и озадаченный. Новая дуэль не входила в его расчеты. Он никак не ожидал, что его воинственные монологи так быстро дойдут до арестованного. Эрнест был, во всяком случае, уверен, что он раньше окажется в полной безопасности в Париже.

И вот опять этот Лермонтов, который, по-видимому, не любит шуток и, пожалуй, не каждый раз будет стрелять на дуэли в сторону… Эрнест понимал, что он и так наделал немало ошибок, подставив под удар свою дипломатическую карьеру. Теперь нужно было избегать малейшего осложнения. Скажи бы он вовремя отцу о предполагавшейся дуэли, старик, наверное, что-нибудь придумал бы. А теперь? Если русские власти выпустят из-за решетки Лермонтова, что будет тогда?

Молодой Барант, задумавшись, опустился в кресло у камина. Черт возьми! Почетный пост секретаря посольства может ускользнуть!

– Что с тобой, Эрнест? Ты опять чем-то расстроен? Ты так бледен… Открой матери свое сердце…

– Мне не дают жить! Я не знаю, как избавиться от этого дикаря Лермонтова! Представьте, он грозит мне новой дуэлью!

Баронесса пришла в страшное волнение.

– Эрнест, пощади свою мать!.. Но как ты об этом узнал?

– Я допустил большую неосторожность. Я был у него на гауптвахте.

– Несчастный! Как ты мог?

– Он требовал этой встречи с упорством фанатика.

– Мое дорогое дитя! – Госпожа де Барант подошла к креслу и обняла сына. – Когда же перестанет преследовать тебя этот ужасный человек? И как ты неосторожен, мой любимый! Ты совсем забыл, что твой отец сообщил русским властям о твоем отъезде. Ты мог попасть в страшную западню, бедный Эрнест!

– Вы видите, я едва от него вырвался. Я объявил этому дикарю, что не намерен повторять дуэли.

– Благодарю тебя, Эрнест! Благодарю, милое дитя! Но надо брать срочные меры. Мы с отцом защитим тебя от этого кровожадного черкеса.

Взволнованная баронесса поспешила к мужу. Посол был у себя и предавался ученым занятиям. Автор нескольких исторических трудов, известных за пределами Франции, он совмещал обязанности посла с работой кропотливого исследователя. Но в последнее время ему не удавалось ни то, ни другое. Дуэль, которую имел Эрнест, вывела его из равновесия. О, если бы можно было отдохнуть от всех тревог и вернуться к любимой истории!..

Едва посол взглянул на супругу, вихрем ворвавшуюся в кабинет, он понял, что опять случилось что-то очень важное и неприятное. Рассказ баронессы подтвердил опасения.

Надо было снова принимать какие-то меры, чтобы спасти сына. Как человек просвещенный, барон де Барант кое-что знал о противнике Эрнеста. Он хорошо знал о Пушкине, он слышал о том, что Лермонтова ставят с ним рядом. Все это очень хорошо знал просвещенный посол. Но ведь дело случилось в России. Здесь переставали действовать, по глубокому убеждению барона, общепринятые европейские нормы. И так как дело происходило именно в России, то и действовать нужно было иначе, чем подсказывали европейские обычаи. Кто же мог помочь в Петербурге скорее и лучше, чем достойнейший граф Бенкендорф.

Посол позвонил.

– Карету! – коротко приказал он лакею.

– Поезжай, немедленно поезжай, мой друг! – в отчаянии взывала баронесса. – Спаси нашего дорогого мальчика от этих азиатов… О мое сердце! Мое бедное, растерзанное сердце!..

Посол и сам был не на шутку взволнован. Но едва он начал свой рассказ графу Бенкендорфу, как Александр Христофорович его перебил:

– Барон, я уже имею сведения о возмутительном поведении арестованного поручика Лермонтова. Как видите, ваше превосходительство, мы работаем не так уж плохо.

– Нужны ли мои комплименты вашему сиятельству! Высокое доверие монарха…

– Трудимся, не щадя сил, барон. И все-таки недосмотрели за гауптвахтой… – Александр Христофорович развел руками. – Но смею вас заверить, ваше превосходительство, поручик Лермонтов, находясь под арестом и пригласив к себе вашего сына для вторичного вызова на поединок, дерзко нарушил закон и за то будет сурово наказан.

– О, я совсем не хотел бы сурового наказания! – перебил посол. – Я хотел бы только быть вполне уверенным, что мой сын, вернувшись в Петербург, будет в совершенной безопасности от господина Лермонтова.

– А разве ваш достойный сын, делающий честь родителям, выехал из Петербурга? – Бенкендорф добродушно ухмыльнулся и прищурил один глаз. – Мне казалось, что граф Нессельроде несколько поторопился с этим сообщением.

– Его сиятельство граф Нессельроде предвидел несомненный факт, – отвечал де Барант. – Разница в несколько дней не делает погоды.

– Именно и я так разумею, – согласился Бенкендорф. – Горячо сочувствую вашей вынужденной разлуке с сыном. Чувства родителей для меня священны… Надеюсь, что барон Эрнест недолго задержится в Париже.

– Благодарю вас, граф, за эти дорогие для меня слова! Они вселяют надежду. Можете себе представить, в каком безутешном горе баронесса! – И посол склонил голову перед горем матери. – У меня есть еще одна просьба к вам, ваше сиятельство, – промолвил после паузы де Барант.

– Слушаю, чтобы исполнить, если это только будет в моих силах, – любезно отвечал Бенкендорф.

– Безусловно в ваших силах, ваше сиятельство, иначе я никогда и не заявил бы этой просьбы. Я должен повторить, – продолжал Барант, – что я не хочу сурового наказания для господина Лермонтова. Было бы вполне достаточно перевода его в какой-нибудь отдаленный гарнизон. Но это еще не все. Мне известно, что господин Лермонтов имеет влияние в некоторых кругах русского общества. Такова привилегия поэтического таланта…

Бенкендорф взглянул на посла с удивлением. Как ни велик был его опыт, он никак не ожидал, что французский посол заведет с ним разговор о русской поэзии.

– Такова привилегия таланта, – еще раз повторил де Барант, – и с этим надо считаться.

– Вы ошибаетесь, барон! – воскликнул Бенкендорф. – В России, уверяю вас, поэтические бредни никак не определяют общественного мнения!

– Но господин Лермонтов в известном вашему сиятельству показании порочит честь моего сына!

– Да неужто?! – искренне удивился Александр Христофорович. – Представьте, совсем было запамятовал, ваше превосходительство, – продолжал он. – К огорчению моему, действительно бахвалился поручик Лермонтов, что, щадя вашего сына, стрелял в сторону. Так, так… И, представьте, даже собственный его секундант этого не подтвердил. Не скрою от вас моего огорчения по поводу столь недостойного для русского офицера поведения господина Лермонтова.

– Пусть же господин Лермонтов ответит перед моим сыном! – Барон де Барант уже не мог скрыть своего раздражения.

– А вот здесь мы уже не властны, барон, – Бенкендорф вздохнул, – сколь это ни огорчительно моему сердцу.

Александр Христофорович очень хорошо видел, что каждое его слово верно бьет в цель, но ничем не выдал своего удовольствия. Он взирал на посла с полным сочувствием.

– Я думаю, – настаивал посол, – что господин Лермонтов должен взять обратно свое показание, нетерпимое для чести моего сына, и притом взять его назад публично.

– Полноте, ваше превосходительство, – еще раз успокоил Баранта шеф жандармов, – у нас в России публичные декларации, слава богу, не в моде и не имеют никакого значения.

Но французский посол хорошо знал, что он беседует с графом Бенкендорфом именно в России, а потому считал вполне возможным предъявлять требования, которые он сам счел бы неприличными в Европе.

– Но как же будет возмещен ущерб, нанесенный чести моего сына? – решительно осведомился де Барант, переходя в наступление. – Никакой приговор не устранит порочащих показаний господина Лермонтова. Как несчастный отец молодого человека, терпящего клевету, прошу вашего совета, граф. Вы поймете меня: если эта клевета не будет опровергнута, как может Эрнест снова явиться в Петербург?

– Сочувствую и разумею. Как же нам быть?.. – Александр Христофорович сделал вид, что углубился в размышления. – Ох, напрасно говорят, что мы всемогущи! Право же, есть и для нас невозможное…

Шеф жандармов внимательно наблюдал за гостем. Посол хранил почтительное молчание.

– Впрочем, – начал Бенкендорф, – что бы вы сказали, если бы мы после окончания судебного дела посоветовали поручику Лермонтову написать письмо вашему сыну, разумеется, дружеское, с отказом от своих слов, сказанных сгоряча, в порядке самозащиты от суда?

– Это была бы вполне приемлемая форма. Но, зная нрав господина Лермонтова, можно ли на это надеяться?

– Почему бы и нет! По своей воле, может быть, не написал бы, но если услышит наш добрый совет… Иногда, господин барон, очень полезно вовремя посоветовать молодому человеку. А у нас, хоть и ругают нас горячие головы, управление истинно отеческое. Само собой, мы будем опираться на ваше пожелание, ваше превосходительство, доверительно мне сообщенное.

– Вы, как всегда, угадали желание несчастного отца! – заключил беседу барон де Барант. – Я склоняюсь перед чуткостью сердца нашего сиятельства.

Проводив посла, Александр Христофорович потер руки. Просьба, подсказанная им Баранту, давала возможность нанести такой удар чести поручика Лермонтова, который окажется сокрушительнее, чем любой приговор суда. Подумаешь, приговор за дуэль! Еще будут считать этот приговор патентом на звание героя…

– А мы посоветуем ему написать письмо, совсем коротенькое письмо, – и фью!

Граф Бенкендорф прихлопнул по столу рукой, будто хотел пришибить муху.

Глава третья

Не дождаться мне, видно, свободы,
А тюремные дни будто годы;
И окно высоко над землей,
И у двери стоит часовой!

Стихи обращены к неизвестной девушке, которую Михаил Юрьевич, сидя на арсенальной гауптвахте, видит в окно каждый день.

Правда, нет на гауптвахте часового у дверей, и окно совсем не высоко. Что из того?

Разве нельзя себе представить, сидя на гауптвахте, как томятся люди на Руси? Может быть, и те мысли, которые он приписывает в стихах соседке-незнакомке, никогда не посещали ее легкомысленную голову? Но поэт все-таки пишет о ней:

Видно, буйную думу тая,
Все тоскует по воле, как я.

Пожалуй, в этих строках действительно сказалась его собственная неотступная дума. Если он покинет когда-нибудь постылую гауптвахту, если сошлют на Кавказ, всегда и везде будет тосковать о желанной воле поэт.

А жизнь на гауптвахте идет день за днем, медленно, тоскливо. Приходят посетители. Скучно! Мизерные мысли, жалкие делишки, смешные волнения… А если никто не едет, еще скучнее.

Каждый день передают от бабушки записки, политые ее горючими слезами. Михаил Юрьевич пишет в ответ бодрые, утешительные письма. Да разве ее утешишь, когда сам довел бабушку чуть не до паралича!

И опять приносят от нее новую записку, еще горше прежней. Так идет эта переписка.

Но, вероятно, никогда не получит Михаил Юрьевич ответа на одно, давным-давно отправленное письмо. Может быть, Варенька никогда и не догадается и не поймет этого поэтического послания, адресованного ей, Вареньке Лопухиной, и ловко вписанного им в писарскую копию «Демона».

Именно эту поэму он избрал для посылки своего оригинального письма. С юности, едва появились первые строки поэмы: «Печальный Демон, дух изгнанья…», он не оставляет этой работы, и так же неотступно живет в его сердце Варенька Лопухина.

Из «Демона» мысли переходят в другие его произведения. Еще ярче и полнее становятся эти мысли. А потом поэт снова возвращается к «Демону» – этой песне его песен, к этой поэме его поэм.

Так и с Варенькой. С тех пор, как он увидел ее в Москве, милую девушку с милой родинкой над бровью, она стала песнью песен его сердца, поэмой поэм его любви. Вареньке он посвятил один из первых набросков «Демона»:

Прими мой дар, моя Мадонна!

В то время Мадонной называл свою невесту Пушкин в только что опубликованных стихах. Пушкин писал о Наталье Гончаровой:

Исполнились мои желания. Творец

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна…

Безвестный студент Лермонтов нашел свою мадонну и писал Вареньке:

Такой любви нельзя не верить,
А взор не скроет ничего:
Ты неспособна лицемерить,
Ты слишком ангел для того!

Варенька не была его первой любовью. Кто поверит, что он был влюблен, когда ему едва минуло десять лет! Но память не оставила даже имени этого видения, промелькнувшего перед ним в детстве на Кавказе. Может быть, это была робко зревшая, но всепоглощающая любовь к пению горных рек, к вольным просторам?..

И Варенька не была вначале единственной. Вернее, он просто этого не знал. Не знал до тех пор, пока кружилась голова и замирало сердце при встречах с Натальей Ивановой. Но кокетливая, ветреная Наташа, смутив покой его сердца, изменила. Варенька осталась. Вот тогда, еще в московские юные годы, она и стала единственной.

Он жил своим чувством к ней так же постоянно, как работал над «Демоном». Если рождались другие вдохновения, это не значит, что они были изменой «Демону». Так же и с Варенькой: жизнь дарила ему другие встречи, но он возвращался к ней, «родинке-уродинке», и любил еще полнее.

Из Петербурга, когда он поступил в юнкерскую школу, он боялся о ней спрашивать и все-таки спрашивал.

Однажды ему ответили: «Она хорошо себя чувствует, выглядит довольно веселой, вообще же ее жизнь так однообразна, что многого о ней не скажешь: сегодня, как вчера. Я полагаю, что вы не огорчитесь, узнав, что она ведет такой образ жизни, – ведь это охраняет ее от всякого искушения; что же касается меня, я пожелала бы ей немного рассеяться; как это можно, чтобы молодая особа слонялась из комнаты в комнату, к чему приведет такая жизнь? Только к тому, чтобы стать ничтожным созданием…»

Бог знает, что он вычитал из этих неутешительных строк, как в них сумел увидеть свою мадонну. А может быть, это было и совсем не трудно: ведь та Варенька, для которой он жил, была, конечно, другой. К тому же письмо было женское, хоть и писанное родной ее сестрой.

Он окончил юнкерскую школу. Драгоценное чувство неотступно следовало за ним. Он не мог, по строгим обычаям времени, переписываться с девушкой, официально не объявленной его невестой. Он писал ее старшей сестре и их общей кузине, которым была доверена тайна их любви. В этих письмах он пересылал стихи к ней, о ней, о себе:

Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан?

И буря пришла. Из Москвы вдруг поползли слухи, что Варенька выходит замуж… Это было невозможно, немыслимо, но слухи подтвердились. Николай Федорович Бахметев был старше жены лет на двадцать, из помещиков, каких в дюжине тринадцать… Что же произошло там, в Москве? Катастрофа? Самоубийство? Принесение жертвы?..

При первой возможности он помчался в Москву. Потом Варенька отправилась путешествовать с мужем за границу, и он снова увидел ее в Петербурге на короткий миг. А потом он послал ей свою поэму. Ею, мадонной, был вдохновлен когда-то «Демон». Поэма дышала мучительной, неиссякаемой и неистребимой любовью к ней.

Для нее и заказан был список поэмы. Меж ровных писарских строк, там, где звучит песня Демона: «На воздушном океане…», поэт заполнил собственной рукой нарочно оставленный пробел. Это и было послание, обращенное к подруге, изменившей любви:

Час разлуки, час свиданья
Им ни радость, ни печаль;
Им в грядущем нет желанья
И прошедшего не жаль…

Это было восстание против нее и против собственного чувства. Он так ее любил, что не хватило сил пощадить. Это была наивная вера в освобождение от прошлого, от нее, от всего, чем жил…

Но одного – забвения – не дал ему бог.

Идет второй год, а ответа на письмо, так хитро отправленное ей в списке «Демона», все еще нет. Может быть, ничего и не поняла госпожа Бахметева в этих поэтических загадках. Может быть, не она, а ревнивый муж читает и перечитывает «Демона», стремясь вырвать из строк восточного сказания московскую тайну жены…

– Поручик Лермонтов! – окликает дежурный по гауптвахте офицер.

Михаил Юрьевич с трудом отрывается от своих дум. На допрос? Что ж, он готов.

И опять перед ним судная комиссия и все тот же аккуратный аудитор с легкими рябинками на впалых щеках. Опять вопросные пункты:

«1840 года, марта 29-го дня… в присутствии комиссии военного суда… Как вам должно быть известно правило, что без разрешения коменданта и без ведома караульного офицера никто к арестованным офицерам и вообще к арестантам не должен быть допущен, то по сему поводу комиссия спрашивает вас: по какому поводу, вопреки запрещения, вы решились пригласить господина Баранта на свиданье с ним в коридоре караульного дома?»

Объяснения потребовали ровно через день после встречи с Барантом. По-видимому, и на гауптвахте следили за ним всевидящие глаза и у стен были всеслышащие уши.

Было ясно, что дело опять пошло на ухудшение. Это стало еще яснее после допроса, когда его снова перевели в Ордонанс-гауз.

– Ну как? – спрашивали у него офицеры, отбывавшие арест.

К делу Лермонтова, уже известному всему Петербургу, проявляли жгучий интерес. Другие офицеры несли наказание по пустякам: за небрежность, допущенную при несении караула, за промахи на учении, – словом, все это была скучная проза офицерской жизни. А тут дуэль, да еще с сыном французского посла!

– О чем же тебя спрашивали, Лермонтов?

Лермонтов пожал плечами.

– Состязаюсь в крючкотворстве с аудитором, хотя, право, напрасны мои труды. Непременно засудят! – сказал совершенно спокойно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.